

Александр  
Зуев

СЕМЬЯ  
разноцветных  
аспир

НОМИНАЦИЯ  
ПРОЗА











Министерство культуры Алтайского края  
Алтайская краевая универсальная  
научная библиотека им. В. Я. Шишкова

Александр  
Зуев

СЕМЬЯ  
разноцветных  
аспур

Барнаул  
2019



*Книга издана на средства краевого бюджета  
по результатам краевого конкурса  
на издание литературных произведений*

**Зуев, А. В.**

3 – 93 Семена разноцветных астр / Александр Зуев ; Министерство культуры Алт. края, Алт. краев. универс. науч. б-ка им. В. Я. Шишкова. – Барнаул ; Новосибирск : ООО «ТИПОГРАФИЯ КОЛОРИТ», 2019. – 170 с. : ил. – (Победители краевого конкурса на издание литературных произведений).

ISBN 978-5-90363-331-9

Александр Зуев, автор стихотворных сборников, представляет на суд читателей книгу лирической прозы. Его рассказы – это экскурс в безвозвратное прошлое родного города, старого Барнаула, когда-то заводского и купеческого; лёгкая печаль об ушедших в иной мир близких по духу людей; повторное переживание испытанных когда-то эмоций. Все это живо в памяти автора и любимо им.

Книга адресована широкому кругу читателей.

ББК 84 (2Рос – Рус) 6-4

ISBN 978-5-90363-331-9

© А. В. Зуев, 2019  
© КГБУ «Алтайская краевая универсальная  
научная библиотека им. В. Я. Шишкова», 2019  
© К. М. Паршина, 2019





## От автора

Небольшие зарисовки, кадры, отснятые в прошлые годы. Старый Барнаул... Снесённые дома, застроенные пустыри, исчезающие типажи и запахи шестидесятых-семидесятых годов...

Знаменитый деревянный ларёк и дом с собачьим питомником на Красноармейском проспекте исчезли с лица старогородских песков как реликты. Как магазин «Горелый» и «Табачный» в Соборном переулке (ныне Социалистический проспект), «Керосинка» за Старым базаром... Как гостиница «Империял», где останавливались Рерихи перед экспедицией в Гималаи, как старая аптека у «Выставки», где гостевал Достоевский.

Не снесли ещё дом на улице Ползунова, куда навевались многие путешественники, в том числе Семёнов-Тян-Шанский. Жив Покровский собор. Сини ми куполами и крестами золочёными светить ему ввысь! Плыть в неведомое завтра в тишине старогородских болот.

Дай бог историческим памятным местам уцелеть.

## Старый дом

С утра белая хлёткая крупа вперемежку с дождём, бесприютное серое небо и лужи под ногами – и это на целый день, и это тоже осень. Когда хоть и дождь, а не спится, хоть и хмурится и строит всяческие гримасы каприза-природа, а тебе отчего-то весело и легко, и бодрящий холодок свободы, и тайное предчувствие каких-то необыкновенных встреч не покидает тебя. Даже в такое пасмурное утро. И ты надеваешь пальто и уходишь из тепла и уюта – зачем? Для чего? Словно бы кто-то ждёт тебя там, за зыбкой завесой дождя и снега, и окликает, как старого друга. Ну конечно же, это он, мы так редко видимся в последнее время.

Каждый варится в своём, накручивая бесконечные спирали из встреч и разлук, из забот и возможностей. И если порой удаётся вырваться из этих непрекращающихся, подчас ненужных приобретений, то это великое благо. Не сговариваясь, мы можем бродить весь день по старому городу, невзначай отыскивая свои любимые уголки, где поврозь, живя на одной улице и окончив одну и ту же школу, мы как-то незаметно выросли. И разъехались, растерялись по многолюдному городу. И уже потом они стали любимыми. Потому ли, что время прошло, а издалека ведь всё кажется прекрасным, а может, потому, что реже стали посещать их. А они как жили, так и живут, разве что чуток подстарелись да поблекли. А тот дом на углу, с великолепными резными наличниками, с бог знает какими высокими окнами всё такой же

моложавый и древний, как само время, запечатлённое в нём. В его нестигаемой крепости и красоте.

С какой удивительной лёгкостью вписался он в окружающие его однообразно-серые строения своей всепокоряющей открытостью, готовностью не сегодня завтра вдруг исчезнуть с лица облюбованной им улицы и перенестись за одну ночь (как в сказке!) на другую. Но что станет с нашей старенькой улицей без него? И ещё без других домов с такими же скрипучими крутыми лестницами и дверными медными ручками, в которых, кажется, ещё до конца не выветрились те стойкие уютные запахи общей кухни, где безраздельно властвовали самовар и керосинка. Где из густой коридорной полутьмы по приставной лестнице можно было попасть в заманчивые чердачные недра, в царство пыли и паутины, где таилось чуть слышное посвиркивание летучих мышей и загадочная голубиная ворожба. А сколько драгоценнейшего хлама – от старого разбитого сундука до ржавых гвоздей – извлекалось оттуда. Куда ж теперь подевались все те вещи «с шепотком причуды», незатейливой отметиной «из детства», из тех прозрачных осенних вечеров, когда синяя холодноватая мгла невидимо растекается по дворам и опустевшим огородам. Пахнет горелой помидорной ботвой и какими-то травами. Старый тополь в огороде облокотился ветвями на крышу – устал старик, намаялся за день шелестеть листвой и словно бы льнёт к печной трубе, просится в тепло. А в доме уже трещат дрова в растопленной печи, и маловозрастная братия со всего двора собирается у телевизора, который в то время известная редкость и только у одной семьи на весь дом. И как незаметно пролетает тогда время, смотришь, уже и погас

маленький голубой экран, у которого расположились мы тесным кружком, и пора расходиться, и ничего тут не попишешь. Утром рано в школу. А завтра? Завтра опять будет бесконечно длинный, наполненный победами и поражениями день, и у него будут свои неповторимые приметы – солнечные или пасмурные, и по-прежнему, радуясь тёплому солнышку или печальясь с мелким осенним дождиком, нас встретит на углу старый дом из нашего детства, в которое мы будем возвращаться целую жизнь.

## Там жила библиотека...

*Посвящаю книголюбам*

Потрёпанная невзрачная книжка называлась «Серая скала». Таинственный свет подземелий, жутковатые тайны скрытых в скале потайных ходов каменоломни... «Наши» разведчики разгадывали «их» секреты. Подобные книжки мы проглатывали, пропадая по выходным дням в читальном зале.

В «читалке», набитой под завязку, иногда подставляли дополнительные табуретки к столам, где восседали книгочеи постарше, посолидней. До сих пор, кажется, различаю я в нынешней безликой, на один манер упакованной и причёсанной толпе лица тех – из «читалки». Намётанным глазом книгоглота...

...Оранжевый Майн Рид и зелёный Фенимор Купер... Толстые потрёпанные тома, обворожительные виньетки переплёттов...

...Библиотека жила в двухэтажном бревенчатом доме. Козырёк над парадным. Медная литая ручка на входной двери. Крутая лестница. Перескрип её певучих ступенек – рондо Моцарта в раннем морозном утре... Высокие белёные потолки, голландская печь. Мёрзлые берёзовые дрова...

По нетронутому белому снежку мы неслись в «читалку», как на праздник. Вдруг повезёт – захватишь заветные «Записки о Шерлоке Холмсе» или «Тайну двух океанов».

...Гремит дровами у печи громкоголосая бабка-истопница. Мы прошмыгиваем в раздевалку. Мимо тяжёлого и неуютного взгляда толстой библиотечарши с абонемента... Не то в читальной комнате, за белой дверью – там жила фея добрая. Добротой искрился её выразительный – из глубины – светлый взгляд. «Фея» никогда не повышала голоса, словно боялась его застудить. Двигалась легко и бесшумно... Книгохранильница!.. Книги из её рук излучали тепло, были самыми желанными. Книги, наверно, тоже разбирались – кто чего стоит.

...Жарко разгорались дрова в печи. Мягкое, обволакивающее тепло шло в читальную комнату от «голландки». Летели страницы «Записок...» Быстро сгорал короткий зимний день. Весёлые оранжевые всполохи скользили по широким подоконникам, синевой накрывало морозные окна. В глубине старого дома, за перегородками, пели протяжную песенку половицы. Пахло старыми книгами, берёзовыми дровами, талым снегом от мёрзлых поленьев, сложенных у печи.

...Кажется, «Серая скала» была последней стоящей книжкой из «читалки» на Интерке<sup>1</sup>. Потом библиотеку снесли. На её месте разбили газон, пристроили гараж. Дом этот высится и поныне, как гранитная скала из детской потрёпанной книжки.

*1991 г.*

---

<sup>1</sup> Интерка – сокращённый, народный вариант названия улицы Интернациональной.

## Полёт

*Старогородским друзьям*

Собачий питомник был огорожен высоким забором. Под вечер сновали милицейские газики. Звонко брякала потайная калитка с кольцом – в глубине двора. Огромных овчарок, доберманов и догов проводили мимо нас на поводках. «Бандитов ловить...» – загадочно произносил кто-нибудь...

Догорал летний вечер, в роскошной мураве больно кусались мошки, а нам было по фигуре; мы до одури гонялись за футбольным мячом, вклёпывая голы то в одни, то в другие ворота.

Двор на Красноармейском... Двухэтажный бревенчатый шатёр, наброшенный на полквартила старогородских песков. С пристройками, с подвалами, с дровяниками. Жители «подвальные» и «верхние». Квартирка Вовки Лосева – с окнами на гору. Этажерка с чёрным «огоньковским» Конан Дойлем. «Золотая цепь» Грина в зелёной обложке. Странный Вовкин отец – то ли однофамилец, то ли дальняя родня опальному русскому философу. Такой же тонкий, чуть с горбинкой нос, лицо в красноватых прожилках, складки у переносья...

...Баночка с брагой, кухня. Седая говорливая старуха у потрескивающей печи с «севериной» в руке. Их разговор. Лосевский отец, пристально слушающий. И я – вполуха. Лось то ли ел, то ли переодевался. Я ожидал...



Старуха, подогретая бражкой, разливалась о каких-то колчаковцах, перешедших на сторону большевиков; называла бывшие тогда на слуху знакомые фамилии...

Сейчас о двуликих Янусах заикаться смешно, а тогда... Насколько заповедна и небезопасна была тема! ...Бабулька-репрессантка (блатные словечки, помню, проскальзывали!), Вовкин отец, подливающий ей в гра-нённую стопку бражки... Сумерки. Кухня... Мгновенно потрясшее – все оборотни! Всё обманно! Вот чёрные зачитанные тома Конан Дойля – это навсегда, это настоящее... Как жуткий холодок по дороге до дома из «читалки» – после «Собаки Баскервилей». Два квартала туманных подворотен и шевелящихся кустов; то странный старик, то кошка, прыснувшая в темь чердачного провала... Детские страхи! Собака Баскервилей... Натуральный большой серый дог, пугнувший нас на лосевском дворе. Видно, проводник сильно опустил поводок, проводя дога до потайной калитки с кольцом... Басовитый рык. Рывок собаки... И наша «могучая» футбольная кучка вспорхнула, как воробьиная стая с травы – врассыпную. Я оказался приземлённым в палисаднике – среди помидорных кустов и укропа. Такого ощущения полёта в простоте бытия не достичь! Долго ржали над моим неуклюжим падением на невзоровский огород...

Невзор – житель «подвальный». В самый разгар футбола нырнёт в свой подвал. Выхватит из кастрюли с наваристыми щами увесистый кусок мяса или горбушку натрёт чесноком. Нутро выворачивало от аппетита. «Дай куснуть...» – слышалось. Густая пахучая тьма надвигалась. Остро и тонко пахла травка-муравка. Усталые, но счастливые растекались мы по тёмным

улочкам и проулкам. При луне, звёздах и тёплом ветре покидали мы уютный «футбольный двор». Место встречи назавтра – двор с собачьим питомником...

...Так бы и шло. Пока нас всех оттуда дружно не выперли с нашим футболом на песочные пустыри... Уютный двор на Красноармейском вспоминали как сон. Мятный и полынный дух его в летний зной; пчёл, гудящих над левкоями, перелай овчарок за глухим забором... Промелькнуло, как не было...

Через просветы в заборных сучках мы иногда подолгу разглядывали клетки с собаками. Как они бились там, в неволе!.. (У двоих из нас несвобода была впереди...)

...Не стало двора. Многие из футбольных и школьных друзей разъехались по новым районам, растерялись...

...Через многие годы при недолгой встрече за бутылкой вина постаревший Лось вдруг вспомнил, как одна из овчарок вырвалась из клетки питомника и, перемахнув через высокий забор, упала на тёплую мураву старого двора. Сердце у собаки разорвалось в полёте. Грустная легенда из давно ушедшего. Другие замутила память. А может, их и не было больше.

*1990 г.*

## Приют

Бывший купеческий дом на улице Анатолия, 90 вид имел внушительный. Высокие окна. Парадное крыльцо. Лестница на второй этаж. Сараи. Вглубь двора, под клёны, вкопанный в песок стол, скамейка... На ней в летние вечера наши дворовые бабушки посиживали. Вязали носки, били комаров да разговоры вели про житьё-бытьё.

Однажды завёлся во дворе маленький уютный дедок. Как поведала мне бабушка: «Дед это Сашки Гурова – соседа... всю жизнь в тайге на пасеке прожил... Ему уж под девяносто...»

«Вот тебе и дедок, – подумал я, – ещё шустрит, бодро ходит. И выпить, видно, не дурак...»

В далёком летнем полдне, в белой рубашке, с лицом искрасна (с пчёлками вековал, дикой воли надышался!), посиживает лесовичок под клёнами, в прохладе... На столе бутылка молдавского портвейна, стакан... Весело поглядывает «медовик» из-под реденьких белёсых бровей на солнечный, щебечущий воробьями двор; на редких жильцов, прошмыгнувших мимо скамейки. Улыбается, захмелев (много ли дедку надо?!), чему-то своему, стародавнему...

«Мир и покой...» – шепчет летний ветерок. Миром и покоем веет от всей укладистой фигурки пасечного деда. «Может, он и говорить-то разучился за долгие годы на пасеке, в тайге?!» – посещает меня догадка.

Наверно, только пчелиного гуда недостаёт, чтобы озвучить духмяную тишину зелёного двора – его последнего приюта на изменчивой земле...

*Ул. Анатолия, 90. 1985 г.*

## Бабушка Шадринская

Была такая в детстве. Объявлялась по большим церковным праздникам. То у снохи (моей бабушки) на Анатолия, то у нас на Интерке переночует...

«Странница» – сказал бы я сейчас о своей прабабке по отцу. От Шадрина до Барнаула – с котомкой, да с батожком, да с молитвою приходила... Это странное существо дремучего возраста чем-то пугало нас с братом. Мерещились глухие и неведомые места...

Всё сказывала она о какой-то Заимке, где «волки овец задавили», о Зеленцовском болоте, где «трясина дышит» и «корова утопла»... Нос крючковатый. Сама загорелая, худая. Руки земляного, рябоватого цвета – ссохшиеся, прожилистые, с синими ручьями вен... Вылитая Баба-яга из детских книжек...

Двор у нас на Интерке был тихий. Укладывались рано. Родители уехали с ночёвкой, а мы с бабушкой Шадринской одни в старом доме остались... Крутим с братом пластинки на новеньком «Аккорде», чтобы развеять жутковатую тишь...

Шадринская спать споровивает. Свет выключает. Страшновато в темноте! Она выключит. Мы включим. Так до поздноты с ней за свет воюем – выключателем щёлкаем.

Смаривает... Засыпаем. И всё равно страшно.

Откуда эти детские страхи брались? Не пойму. Древний какой-то страх, пещерный...

Может, зайчонок, брошенный зайчихой, так же боится чёрного ночного леса, незнакомых звуков и шорохов; и сама тишина страшит его неведомым?! А мы древней бабки (такой и не встретишь теперь...) испугались...

*1990 г.*



## Кормилица у Покровского

Морозная ясность небес. Хруст снега. Ворона у дымохода, как вмёрзшая в снег диковинка. У Покровского собора тучи голубей кормит старуха. Проезжает легковая машина. «Дави их, дави!..» – бросает походя, на бегу, женщина в возрасте. Водитель легковушки тоже в годах, но не торопится давить. Притормаживает. Голуби привспархивают. Легковушка проезжает.

Старуха говорит той, в возрасте: «Женщина, вы ж пожилая и... “дави”...» Немая сцена... «А что они дорогу загородили?!» Оправдательная фраза уходящей. На любые времена сгодится! «Да бог с вами, женщина...» – вздох кормилицы.

Военная крытая машина тоже замедляет ход у голубиной трепыхающейся кучи. «Не дави, не дави... Так, так... Молодец!» – радостно и бодро посылает вслед вояке старуха. И вновь разбрасывает крошки.

1986 г.

## На лиственничном плоту

Сырая осенняя ночь в соборе... Шумят тополи в ночи! Какая сырая, одинокая – волчья – осенняя ночь! Как скрипят дверные петли под ледяными порывами!..

Осень... Собор... Ветер. Одиночество. Свет горящего окошка в ночи – свет надежды... Как закручивает головки поникших астр на клумбах! С болота – запах холодной сырости и завядших цветов. Кружу с одиночеством, с осенью, с ветряными порывами по соборному кругу... По нескончаемой ночи... Застыл... Всплеск и проблеск мигающей звёздочки далеко-далеко – в бездне сырой бесприютной ночи...

А собор плывёт и плывёт – в вечность – на лиственничном плоту...

*Покровский собор, 2001 г.*

## На Барнаулке у медеплавильного

Сидя под мостом – под вечер – смотрю на бегущую воду... Шумит она кремнисто-медными валами. Бурлит, порывается, неугомонная, спеша вырваться на широкий простор...

От моста к бывшему медеплавильному – на понижении – грохочут белые буруны. Что за чудо-место! Остатки свай с каких времён?! Иные, кажется, вот-вот заговорят, как каменные бабы в степи...

Эти речные, обкатанные водой и временем деревянные изваяния высовывают головы – кто из песка, кто из воды, – как живые. Порой слышится записанный на них рекой зов. Или так вздыхают? Разбитая кабина старого грузовика то и дело вздрагивает от напора гремящей воды, но с места не двигается... Скребанув по камням, проносится большая белая кастрюля, чуть не столкнувшись с бывшей кабиной. Благополучно минует белые ревушие буруны и скатывается на речную территорию бывшего медеплавильного... Подкрашивая воду алым, светится отражение розового дома... Устав от водяного грохота, поднимаюсь на мост...

Сверху всё выглядит другим. Взгляд цепляет перспективу, путешествуя по уцелевшему историческому закутку. С грохопада воды перемещается к старому мостику и дальше – к туманным строениям, движущимся фигурам, тополям, шатким заборам... И вода там движется по-иному – лениво и по привычке... Да и движется ли вообще – не разглядеть с высоты...



Я пошёл дальше – до Старого базара, через снесённый квартал под горой, через пустоту, оставленную бульдозером... Побродил среди клёнов и тополей у пепелища...

Совсем смерклося. В темноте под мостом – у горпарка – забытой ночной песенкой журчала вода... Долька луны плескалась и подрагивала на маслянистой поверхности. Склонённые прибрежные ивы шептались. Озвученные отражения, переплетаясь, замороженно двигались, как веерные кисти, рисуя в подводной глубине акварели... Под журчанье воды, под дальний рассыпчатый лай – из горпарка – всё замерло... С медеплавильного – из затворов – проносятся тени. Шуршит и плюхает, набегают волна на волну. Проплыла коряга и вдруг остановилась в прибрежной темени, где журчит сток...

Ночь над горпарком, над Старым базаром, над поредевшими шатрами тополей – майская синяя ночь... Забытым ладом в тишине бурлит и бормочет Барнаулка...

*2001 г.*

## На весёлом месте

*(Рассказ бабушки)*

– ...А мы на весёлом месте жили, – вспоминала бабушка Александра Васильевна, – в Шадрино... теперь этот дом сгорел. Мы жили на одной половине, а на другой дядя Саша жил – нашего отца брат родной. Он нас и воспитывал. Отца чуть помню, как провожали на германскую, даже мать-то плохо помню... В 20-м году – от крупозного воспаления лёгких... И нет её... Они фотографировались в Новониколаевске с отцом перед отправлением на фронт. Похоронной у нас не было. Без вести пропавший... Нам писали... Остаться не должен был... Всё-таки нас тройка осталась... Помню как во сне... Он пришёл. Мы с бабушкой жили. Пришёл. Нас и воспитывал. Он больной был. Испростыл там. У него потом ревматизма открылась. Долго болел. Всякими лекарствами лечили. Паша от отца шести месяцев остался. Я – старшая. А молодые прибрались. Мы с тётёй Нюрой (двоюродной сестрой) – зажились...

...Когда я вышла замуж – дядя ушёл на свою половину. Надоело ему в колхозе работать.

*Ул. Анатолия, 90. 1984 г.*

## По Никитке, по правой стороне

Одно из путешествий с бабушкой за круглыми весёлыми капустными кочанами... В раннем детстве...

По Никитке<sup>1</sup> в серединке прошлого века спешим мы с Александрой Васильевной в осенний вечер на огород...

Огород около Покровского собора... Сказочный, ненастный, старогородской вечер. Всё мне веяло сказкой в тех местах. Всё детство она окружала... Поленовские дети в грозу... Вот такой цвет неба...

Дивно пахнет осенний огород... Клубятся кочаны на грядках. Бабушка их – в мешок. А я в огородном раю растворился. Замер посреди пылающих георгинов и астр, глазею на собор, на нахмуренное небо. Ветер порывами подсинённую чернь нагоняет... Нагнал. Нагруженные летим с бабкой по Никитке... Я, любознательный, большеголовой, неуклюжий, с бабкой как одно целое... Она ещё шустрая (кочегарила, мешки с мукой разгружала, патроны на 17-м заводе ладила в войну), уцепистая... Недаром у родного дяди с пяти лет к коням была приставлена... Поле, огород... Огород, поле... Пашня... Ранний космос бабкиного детства.

«Зато всё у нас было... И арбузы, и дыни вызревали... По осени из Шадрино везём с дядей полный воз – на Старый базар. Продадим, мануфактуры наберём..» –

---

<sup>1</sup> Никитка – сокращённый, народный вариант названия улицы Никитина.

под вязку носков текли её рассказы. «А эт-та... А вечер... А слушай-ка...» Слова тёплые, печные – под метель, под прялку – сплетались, ворковали, как голуби у Покровского собора в те года... Но и упрямая же была бабка, упорная. Свою линию гнула. Не мытьём, так катаньем добивалась. И будто бы и не старела...

Шибко размолодил её новый сосед за стенкой. Это уж который по счёту жених?! Ветеран войны... Пенсия хорошая. Хоть и староват, а сватается... Давай меня бабка с ним знакомить, напевать да посмеиваться... Да поднаряжаться... Устроили званый вечер у старика у этого... Графин смородиновой выставили (я в пору межжонья у бабушки жил). Старик ради такого случая свой ветеранский паёк на стол... Наговорились, навспоминались... Потешили душеньку... Да и передумала бабка... Привыкла уже одна. (За ним, за старым, стирай, да ухаживай, да подбирай...) Не рискнула напослед... Скольких уж мужей пережила?! Родной-то дед наш в 20 лет в заоблачные грады отошёл. Рука в молотилку попала. Кровью истёк... Не довели до Барнаула из Шадрино... Даже фотографии не осталось...

*2002 г.*

## И лошадь падала на Пасху...

По трезвянке от деда Жмаева редко слово услышишь. Пьяный разговорится – не заткнёшь. Трехрядку в руки возьмёт – и пошёл плясовые, удалые отбивать на клавишах трофейных....

«А ну, ребята, давай вприсядку!..» Что уж там за «присядка» получалась в разгар гулянки, под тарарам подпившей родни?! Смех да и только... Зато какие песни старинным ладом душу грели! Схороненная Русь разливалась разноголосьем, жгла лучину в долгие зимние вечера, переживая многоснежную степную сибирскую буранину...

Умел Дмитрий Фёдорович отводить её – душеньку-то. Щедрел. О человечности заговаривал. «Мы – не люди, и черней нас есть... Вот Аня – человек... Человек!..» – нарастяжку повторял Жмаев (это о маме, с которой частенько ссорился...). Как меха гармошки своей, распахивал он на всю ширь певучее слово, словно проверял на звучность – самое обыденное, самое намелькавшее...

Сидя на отшибе, на порожке у бабушкиной печки, замороженно вслушивался я в душевные жмаевские откровения... Всем «сёстрам» доставалось тогда «по серьгам». Первому – тогдашнему правителю, о котором они, фронтовики, и слыхом не слыхивали на войне...

Вперемешку под прицел его суждений попадали то родня за столом, то международная политика... Восторг прямо-таки ностальгический загорался в его

речах при воспоминании о благоустроенных, чистеньких хуторах в Восточной Пруссии, где штурмовали они, сибиряки-гвардейцы, неприступную крепость Кенигсберг. (Через годы, во время службы в армии, я их буду разглядывать – эти прибранные хуторки на севере Германии!)

«А ну, скажи, как будет по-литовски ведро?» Вопрос летел ко мне, на порожек... Повиснув, застревал в тягостной паузе... Жмаев хитро покрякивал, прикладываясь к табакерке с ядрёным табачком, выжидал... «Ну и Саня, а ещё ученик... – смачно подначивал Жмаев и поражал наповал предельно простым ответом: – Вед-рус». К ведру приделывал он «ус» и радовался, как ребёнок новой игрушке...

А то взмывал орлом над угасающим праздником, над протяжными голосами подгулявших старух – вспоминал прошедшее... Про колдуна-кузнеца, которого деревня побаивалась, про то, как «лошадь падала на колени в Шадрино, когда в Барнауле колокола всех церковей звонили на Пасху...»

«А на Масленицу выбивали: “Бли-ны! Бли-ны!..” Такой звон стоял!..» – подхватывалась бабушка – вслед за Жмаевым – в памятные светлые проулки...

Ныне, слушая чистый, разливистый звон с колокольни Никольского храма в престольные дни и мелодичный цокот копыт в раннем утре одной, чудом уцелевшей старгородской лошади, недоумеваю: куда всё так быстро девается? Куда уходит минувшая благодать? В каких сундуках времени хранится? И на кой мне этот ваш «прогресс» с его сумасшедшими ритмами и нечеловеческим грохотом?! Я его, честно сказать, не заказывал... Так и слышится многомудрое слово

24

Лескова: «Кто в суеде живёт – разве тому откроются тайны сердечные?!»

Конечно, в начале шестидесятых, о которых веду речь, ни звона, ни звяка колокольного не услышишь... Только в кино историческом про старую Русь или в сказке... Зато лошадиные подковы ещё пели на отзывчиво-звонком булыжнике Соборного переулка... Мы вырастали под цокот копыт...

Что ж говорить о сказочных временах, какие довелось Дмитрию Фёдоровичу и бабушке пережить?! А мы-то почему не застали ни кузнецов-колдунов, ни колокольного звона всех церквей барнаульских на Пасху?! «Времена не выбирают...» И всё же...

И всё одно к ней – к старине достославной – прислонялся Дмитрий Фёдорович в разговоре, будто к старой трофейной трехрядке в минуту отдохновенную... Небольшой, кряжистый, он допоследу тяжёлые тюки таскал. Табачок нюхательный – в табакерке, трофейный «золинген» – в футляре. Ну а бражка всегда в подполе – в бутылки набраживалась. До очередной гулянки с плясом или до выходного...

Бабушка (тайком от мамы) просила, чтобы мы с братом Фёдоровича дедом кликами. Наши-то – кровные – сгнули досрочно... А Жмаев – вот он – живой. На гармошке играет. Медальями на парадном пиджаке позвякивает на День Победы. Дед так дед. Тут дело не в слове было. (Хотя и в нём тоже!) Я-то не понарошку верил сказанному... И когда Дмитрий Фёдорович, добрея от выпитого, в очередной раз тянул нараспев: «Вот Аня – чело-век... Чело-век!..» – звучало для меня это музыкой и высшей оценкой в его устах. От бабушки подобных признаний в адрес мамы я не слышал.

Ну да теперь все они «там» встретились – и Жмаев, и бабушка, и мама (Царствие им небесное!).

...Кажется, у брата ещё жива жмаевская весёлая трехрядка. Сколько гулянок и светлых праздников озвучила она за свой век! Я не расстанусь с оловянной, прошедшей фронтовые дороги жмаевской ложкой. Она глубокая (по типу резной, деревянной). Суп в ней быстро остывает. Интересно, где носил её тот гвардейский старшина Жмаев на войне? За голенищем сапога? Или где? Знал бы, что унаследую знаменитую ложку, спросил бы у него тогда – в детстве... Да я бы и не то спросил – с нынешними-то мозгами!

Помню, с каким вкусом наяривал дед Жмаев этой самой ложкой сваренные бабкой в чугушке на печке наваристые щи! Вот был аппетит! Ну и выпить был горазд! И попеть, и побалагурить... с философским уклоном. «В поленице за домом у него скрадок был – бутылки прятал... – рассказывала мне потом бабушка (я вернулся из армии, а Жмаева уже схоронили). – Среди ночи встанет... И на двор. Я думала, в уборную ходит. А он отхлебнёт там и опять ляжет. Уже не мог без водки в последнее время. Потом парализовало его. Почти два года пролежал... Аня с Васей (мои родители) пришли на его день рождения. Ну, сели. Выпили. И ему в стопочку налили. Чуть-чуть. Я ему поднесла. Он чуть глотнул – назад идёт. Я оставила. А он с дивана: “Вы мою стопочку не трогайте... Я её потом допью”...»

Блажен, кто допил не до дна.

*Ул. Анатолия (дореволюционное название – Павловская), 90. 2002 г.*



## Керосинка

За Старым базаром, за бревенчатым домом исторического значения (ныне сгоревшая гостиница «Империал») три старушки, согреваясь разговором, приплясывают на ледяном ветру. Керосин ждут.

Октябрь. Холод. А керосинщика нет. Подхожу. А они – о Боге, о конце света, о том, как «последний царь Михаил с родинкой на голове облетит весь мир...»

– А потом – конец света, – вещает одна из бабулек.

– А мы всю жизнь без света. С четырнадцати лет под ружьём, – подхватывается другая с заплечным мешком.

– Это где ж у вас света нет?! – удивляется старушка помоложавей.

– На кожзаводе... – охотно откликается «мешочница». И добавляет: – ...И в ссылке-то я была. Семьсот километров от Енисейска, в тайге...

– За что вас ссылали-то?! – интересуется моложавая.

– У отца мельница была, – глубоко вздохнув, отвечает бывшая ссыльная. – Да... видела я, как баржу с верующими топили... Так и утопили...

– Это вас богатые ссылали... – замечает не в строку интересующаяся.

– Да нет, уже бедные, – секунду подумав, завершает диалог кожзаводская бабулька.

Холод. Ветер пронизывающий.

– Керосину не будет. Машина сломалась. Шофёр вот сейчас позвонил, – любезно сообщает нам

барышня из близлежащего учреждения. И расходимся мы. Легчайшей походкой идёт бывшая ссыльная старушка, а вторая – та, что вещала о конце света, – бережно берёт её мешок со словами: «Давай помогу...» И идут они – под ручку – в свои кожзаводские трущобы (в официозе – посёлок Ильича), под обрывы да под яры – до лучшей поры.

*1986 г.*

## Загадка ларька

Проня нёсся до винного ларька точь-в-точь, как Вицин со Смирновым удирали от «вождя краснокожих». Сей ларёк, знаменитый винной рассыпухой, стоял прямо на бугорке – за трамвайной линией, на Красноармейском... Справа от него деревянное крутое крыльцо аптеки с перилами возвышалось... За ларьком плескались старгородские пески, кипели футбольные битвы... На грубо сколоченных ларёчных ступенях, на приступках его гремели бидоны, грудились мужики. Глотки, разговоры, облегчённые вздохи доносились. За ларьком летал мяч, пот заливал лица, и пыль набивалась в носы – под вздохи летнего ветерка... И никакого интереса к винцу разлитому...

И вот живая картинка из шестидесятых... Из одного двора выкатываемся мы с мячом и Проня с бидончиком... Вопрос: кто быстрее добежит до заветных мест?! Мы, которым по десять, или Проня, которому в шесть раз больше. Практика стимула (сам придумал). Так вот из этой практики выходит: старый фронтовик, летя к закрытию ларька с последним рублём в кармане – навстречу старгородскому закату, – обгонит нас, как сверхзвуковой самолёт телегу с битюгами...

И если через сто лет на земельке моей Интернациональной поставят деревянный ларёк с дешёвым портвейном... Если верить теории колеса и вечного возвращения... Ответ будет тот же.

*1990 г.*

## А как свет зари потух...

*(Этюд-воспоминание)*

Дух разрушения давно поселился в этом домишке на краю леса. Вспомнились декабрьские морозные вечера. Ранние сумерки. Овчарка Берта, которой уже нет на свете. Как она ловко убегала в ночь, снимаясь с удавки-ошейника. Как перегораживала дорогу своим постаревшим, но ещё крепким телом. Погладишь за ушами – пропустит в дом. Кроме собаки, доверили мне трёх гусей, десяток кур с петухом, двух кошек. Всю эту живность я исправно кормил. Топил печь, варил варево в чугунках и кастрюлях. Я жил в доме, где были сени, чулан, курятник, баня, двор. В чулане – древние, потемневшие от времени лари с мукой и крупой.

По ночам под завыванье метели стены дома наполнялись гофмановским мышинным писком. Казалось, писк идёт от каждого сантиметра стены. Стихала метель. Оглушала тишина ночи. Одна кошка уютно фыркала у меня в ногах, другая караулила мышей в кладовке. Шорохи, пiski, еле слышный треск, а потом вздох проносился в непроглядной темени избушки. Морочила ночная нежить. Я засыпал под мышиный писк. За ночь изба выстывала. Я пробегал по ледяному полу за дровами. Растапливал печь. Ставил чугунки для варева. Колол дрова. Ни минуты покоя. Иногда выходил под звёзды – подышать чистым морозным воздухом, послушать, как шумит ветер в верхушках сосен...

...В одну из морозных ночей замёрз старый красивый петух. Лежал неподвижный, тяжёлый. Я схватился за голову. Вот напасти. Что за хозяйева пошли? Стайку утеплить некогда! Вечером растопил печь. Занёс оконченного петуха в избу. Решил устроить праздничный обед для Берты. А чтоб не ошипывать, метнул бедолагу в самое пекло раскопчегаренной печки. Загудело, затрещало... Засверкали солнечно-фиолетовые отблески, запахло палёными перьями. Не помню, чтобы так ярко горели берёзовые дрова в печи. Огонь словно впитал в себя всю многоцветную палитру петушиного оперенья. Даже строчка пришла:

«А как свет зари потух, в топке жаркой, как заря, горел петух перед варкой...»

Завораживающее было зрелище. Обгорел Петя, опалился. Я его в чугунок да на печку. Попировала собачка куриными потрошками.

...А было и такое. Через метель в темь оконного стекла кто-то тихонько и настойчиво стучал. Я выскакивал на крыльцо, вглядывался в слепящую метельную круговерть. Шустрая девочка-соседка звала меня на ужин. На домашние пельмени. Теперь она давно невеста.

...Недавно померла старушка-соседка из дома неподалёку. Мой почти единственный консультант по хозяйственным делам. Подзабылось лицо. Зато хорошо помнится её большой, чистый и опрятный дом. Комнаты с высокими потолками, невероятных размеров цветы в кадках и горшках повсюду. Вот его строили бодрые духом люди. Не скупилась. Для себя, для детей, для внуков. Поразило тогда. Старая бабушка одна такую домину держит в чистоте, да и огород немалый. Когда

успели люди измельчиться? Надломились, что ли? Светлый дух их покинул? Когда же посетит вновь? Охранные будни мои подходили к концу. С вечера я натопил баньку. Напарился от души берёзовым веником, отскребся от жира чугунков и печной сажи, а рано поутру отбыл в свою городскую квартиру.

*Борзовая Заимка, 1991 г.*

## Залётные

(Быль)

Бесшабашно-безрассудной юности везёт. В досто-славные семидесятые супруги Ш. влетели в «номерной» город, как в свой огород за переспелой клубникой. Влетели (гнали новенькую машину) и не сразу поняли, куда попали. Из Прибалтики, из свадебного путешествия – с потоком машин (не зря говорится – машинально) завернули в маленькую «деревеньку». И офонарели.

«Деревенька» та из каменных домов. Люди в красивом импорте прохаживаются. В магазинах тушёнки, сгущёнки, колбаски, конфетки... И всё по госцене. Молодожёнам в радость, в диковинку. Только баночки весело звякают, да заманчиво свёртки шуршат. Когда ещё в такой товарный рай попадёшь? Впереди родные хлебосольные просторы с хеком и «завтраком туриста» (с голоду, конечно, не помрёшь, но и не разгуляешься особо-то). А тут – Эльдorado всякой всячины. Сервиз «Мадонна» с ценником в рублях перламутром светит. Бери – не хочу.

– Что-то здесь не то... – прозревает вдруг супруга, – в «Берёзке» такие (сервиз немецкий) за валюту продают.

Вот тебе и рай безоблачный. Однако сервиз купили, тут же решив с «деревенькой» распрощаться. Стражники на выезде не пускают. Пропуск требуют. «Вы в «номерной» город заехали... Путешественники...»

Вот тут наши голуби залётные пригорюнились. Вышло, как у В. Суворова в нашумевшем «Аквариуме»: «У нас вход – рубль, а выход – два». Где ж бедолагам взять два, если и рубля-то не платили?! Стали по «деревеньке» колесить. Другой выход искать. Не нашли. Призадумались.

– У них тут где вход, там и выход, – догадалась супруга. Юрист, между прочим. Супруг согласился.

Ну если один раз повезло, почему бы еще-то не повезти?! Покрутились по улочкам и... назад к выходу. В стражниках молоденький лейтенант (звучит – «налейте нам»). Молодожёны к нему. Про свадебное путешествие и про всё как на духу поведали...

Посмотрел на них чистыми и прозорливыми глазами лейтенант «молодой и красивый» и... послал за коньяком. Молодожёны вихрем слетали (в раю-то всё было) за трехзвездочным. Как родному доставили. Простились, облегчённо вздохнув, и обещали про свою незапланированную экскурсию в «закрытый» городок никому не рассказывать.

Но вот какое дело с «Мадонной» этой, с сервизом перламутровым – никто не верил, что супруги ездили за машиной в Прибалтику. «Вы из «загранки» сервиз привезли. В Союзе его за рубли не купишь...» – так говорили. Молодожёны загадочно улыбались. И... как обещали своему благодетелю, про «рай» про «номерной» помалкивали... До времени.

*1994 г.*



## В чистом поле звонить некому...

(Рассказ)

– Может, за опятами сегодня махнём?! – предложил мне обладатель ослепительной «девятки» доктор Н.

За опятами в три часа дня?! Очень мило. Поехали...

Интересный доктор. С редкой ныне патриархалинкой. Образован, степенен. Как загнёт афоризм: «Интеллект для того и дан, чтобы уворачиваться». Хоть стой, хоть падай. Шопенгауэр!

Несёмся ровной трассой к березнякам. К вольной волюшке. Доктор за рулём. Супруга справа. Мы с докторским отпрыском на «галёрке».

Добрались до крутых увалов, где опята в папоротниках. Глушь, благодать. Шуршим зарослями, бродим. Опят не густо. По оборышам рыскаем. На дне увала то пни замшелые, то колодины сгнившие. Тишина... Безлюдье.

Разбрелись, от воли посветлев, от грибного духа ли. Еле собрались. Солнышко взялось за горизонт закатываться. Впору бы домой. Да не тут-то было. Закапризничала «девятка». Засопротивлялась, железяка этакая! Не заводится. Толкали мы её, толкали... До трассы чуть не на руках вынесли. Не хочет везти.

Доктор на капоте автомобильные инструкции развернул. Как полководец карту. Изучает. Супруга советы даёт. Спорят потихоньку. А тьма не дремлет, сгущается.

Попробуй останови в это время на трассе кого-нибудь...  
До утра проголосуешь в пустоту.

А ну, ещё попробуем. Ну-ка, дружно взялись...

Доктор в машине рычаги давит. Мы толкаем. Ни в какую. Пройдёт метров пятьдесят – и адью. Всё снова да ладом.

Остановился какой-то сердобольный чудак на «жигулях». Пропер нас на буксире с десятков километров. И всё. «Дальше не могу, извините...» И чудак-то, замечу, не наш – из суровых северных мест. У них там не бросают. Взаимовыручка. Закон.

...Ночь, холодрыга. Звёзды, как якутские алмазы, светят и дрожат в широком поле. Где небо и где поле? Всё одно холодное пространство. Чувствуешь себя былинкой беспомощной. Спички кончились. Зуб на зуб не попадает.

...В стороне от трассы чернеет не то мехток, не то загон, освещённый прожектором. Прём с доктором по темноте – через лужи, грязь и колдобины. Теплим надежду – хоть бы тракторишко какой-никакой нанять!

Сторож неведомого строения рад бы помочь, да тракторист только что ушёл домой, в посёлок. Позвонить некому в чистом поле. Возвращаемся к обесточенной «девятке». На месте не стоим. Движемся. Соображаем. А время уже за полночь. Хороша грибная охота.

– Это из-за тебя машина отказала, – дожимает доктор.

– А из-за кого же ещё?! – подхватываю я. – К вам-то она привычная...

Дрожим, препираемся. Пацанёнок докторский в салоне носом клюёт, а может, уж пятый сон видит.

...«Вот кобыла – та б не подвела... Отдохнула

и пошла...» – это я в пику всему автомобильному транспорту придумываю на ходу.

Передвигаемся. Голосуем. Огней от машинных фар всё меньше. Курить охота. Спичек нет. Вот бы костёр разжечь, согреться. Одиноко в поле, неудобно...

Откуда он вылетел, тот чудесный старенький мусоровоз? Откуда он взялся в холодном просторе, полночный наш спаситель?! Эх, птица-тройка! Русь, перестройка!

– На бутылку дадите, до Алтайки довезу...

– Хоть на литр, если довезёшь, – на ходу набрасывает доктор.

– На литр, – передаю я, как радостную эстафету, на ухо полуночному отчаюге. – Если бы не ты, родной наш подвыпивший мусоровозчик, мёрзнуть бы нам в поле до утра.

Как весело несётся ослепительно белая «девятка» на длинном «мусоровозном» буксире, с ветерком... Я еду в кабине с подгулявшим спасителем. Курю, балагурю с ним обо всём происшедшем. В тепле кабины клонит ко сну. Часа в три ночи добираемся до родных пенатов. На руках укатываем «девятку» на стоянку. С тех пор меня доктор за грибами не берёт.

*1994 г.*

## Прощальные костры

Как захламили лес всякие проезжие и прохожие! Бесконечные стоянки с обугленными головешками, с бумажным и тряпичным хламом, а то и целые свалки мусора, выпавшего, ясное дело, не с неба, а из кузова грузовика. Чтобы дойти до мест мало-мальски человеческих, где бы взгляд твой постоянно не натыкался на «следы» человека, немало вёрст отмахнешь. Зато когда отыщешь заповедный, нетронутый уголок – поляну или овраг, где осины дрожат на ветру, – тут и порадуешься осеннему многоцветью. На время забудешь об оставленных за спиной свалках и пойдёшь дальше в глушь сырой, горько пахнущей грибами и хвоей чащи.

Для всех она открыта. Никому пути не заказаны, да и трофеи лесные всем доступны на каждом шагу – грибы, ягоды. А неповторимые, живые краски, которых не отыщешь ни на одном холсте, – тоже перед тобой. Вход бесплатный. Ходи да разглядывай палитру осенью. Ее-то, слава Богу, пока не порушил человек. Но посягает на неё. Порубками, после которых голые пни да завалы остаются. И врезается, врезается неумолимая бензопила в неокрепшие шейки белоствольных, тысячекратно воспетых берёз. Скольким из них ещё предстоит упасть на засыпанную листвой землю. Надрывается пила. Как по сердцу скрежещет своими зубьями. Протяжный звук всё ближе. Надо оглянуться напоследок, чтобы ещё раз обожгло взгляд

белоснежным, протяжённым до души берёзовым ситцем... Да разве нагладишься впрок?

Может быть, завтра лихие рубщики снесут и этот тихий берёзовый уголок леса, и он уже не повторится, именно такой, нигде. От снесённых старых домов иногда остаются фотографии в архивах. От порубленных деревьев только пни...

В пору поздней осени, самой поздней, в предзимье – в лесу ни души. Лес по-особому притихший и строгий. Бесприютный. Не расположенный посвящать тебя в свои тайны. На старой вырубке я наткнулся на большой замшелый пень, посеребрённый инеем. Из него маленькие, ядрёные крепыши-опята лезут. Как родились в таком холоде? Не раскисли, не превратились в те чёрные, водянистые, смёрзшиеся по оврагам. Хоть и не в срок родились, а выжили вот до первого снега. Он выпал внезапно, большущие снежинки поначалу осторожно опускались на слякотную землю. Потом зарябило в глазах от их весёлой, напористой толкотни. Вторжение снежинок не прекращалось. Разноцветные слежалые ворохи листьев покрылись белым пухом.

Земля умылась чистым белоснежьем.

На опустелых полянах горели костры. Кто зажёт их в эту бесприютную пору, в слякоть и снег, в потемневшем, оставленном людьми бору? Лесник? Конечно, он подгадал погоду, дабы избавиться от лесного сора. Сыпал снег. Горели костры. Никого не было в лесу. Только серая фигурка лесника мелькала между деревьями.

Я подошёл погреться к одному из костров. Пламя гудело, всё сильнее разгораясь. Сухие слежалые сучья трещали в огне. Снежинки, попадая в него, таяли.

Другие, бесшабашные, летели вслед за ними и кончали тем же. Обогрвшись, я отошёл от обжигающего пламени. Надо было выходить на дорогу из знобкой чащи, где оставалась одна живая душа – лесник и запалённые им, словно бы вслед уходящей осени, прощальные костры...

## Невидимый свет

Что за грусть в осенних поздних лесах! Время, как колесо за горизонт, катится – не остановишь. А за окном уже октябрь. И, как остатняя грусть, прорвётся за облаками синее, нежное, далёкое... Вот бы остаться в этом далеке и не уходить от зачарованной тишины, от лесных, схороненных вдалеке полян.

Давайте и мы неслышно откинем полог притихшего леса. Здесь всё замерло до срока – до каких-то лучших времён. И ненастное утро, и ветер на раннем рассвете, и тот особый, бодрящий душу холодок, который по-прежнему согревает тебя в пути.

Как тихо, бесприютно и одиноко в лесу! Ничто не потревожит, не шелохнет этого предзимнего сна. Да разве это сон! О чем-то шепчутся берёзы, сбежавшие на поляну, и несмолкаемый шум сосен, такой бесконечный, такой вечнозелёный, не даёт тебе окупаться в эту тишину. Да и нет её в этой чистоте, в этой осенней свежести. Ещё живы звуки, которые украшали дивный летний лес.

И, словно блуждая по памяти, мы отыскиваем эти ушедшие приметы. Всё так же стучит трудяга-дятел, между делом разрушая невидимые затворы тишины. Ему вторит нескончаемый писк, шелест и шорох от всей лесной птичьей мелочи. Синицы, поползни, лесные голуби... Кто там ещё? Но в этом безлюдье, в этой попытке задуматься о прошедшем лете нет у леса союзников. Да и когда ему? Он живёт своим, раз и навсегда





размеренным бытием – есть у него пора цветения и пора увядания. Как это хорошо – застать его на пороге раздумья между светом и надвигающейся тьмой, между бесконечной сменой ночи и дня, о которой и не задумается он. Да и есть ли время на раздумье? В заповедных чащах, в их неприбранной тесноте скученных кустов и деревьев можно затеряться и забыть о времени. Да разве оно существует здесь? Разве невидимый волшебник леса, его незримый дирижёр не посвятил вас в его дремучие тайны?

И всё же эта никем не предсказуемая печаль или радость, это великое таинство – первый снег в опустевшем, чисто прибранном лесу. Первый снег! На влажную свежесть зелёной хвои, на золотой багрянец, как легчайший вздох, как давно задуманный итог, – порханье снежинок. И нет ни тёплой печки, ни наводящего грусть пейзажа за окном, а есть заповедная тишина оврага, усыпанного листвой, есть особая чистота предзимья, от которой светлеет на душе. И потому, что первый снег, и оттого, что ты один (но не одинок) в этой звонкой осенней чаще, и так радуется открытый путь по белоснежью, по первотропу, как говаривали в старину.

Как по-особому звонко перекликаются звуки, неведь откуда возникшие! Они – то шорох снега с припорошённой сосны, то еле различимый крик птицы, то шум дальней электрички. Как далеко рассыпается эхо среди заворожённой тишины, среди утонувшего в своей задумчивости леса! Оставим ему тишину, забвенье, размытость красок и штрихов и глубоко потаённую печаль неумолимой осени, которая, прощаясь, прольёт в его душу невидимый свет.

## После ненастного вечера – утро...

Октябрь – всё-таки самый непредсказуемый месяц. В нём всё перемешалось: и промозглая дождевая слякоть, и внезапная теплынь, и первые заморозки...

В такой серый ненастный вечер окажешься один в пустом гулком дому. Будешь ждать под вечер гостей. Обещали быть, но что-то не торопятся... До темноты займёшься заготовкой дров. Распилишь ножовкой, изрядно попотев, сухое сосновое бревно на небольшие чурки. Колоть их – одно удовольствие. От лёгкого удара топором они рассыпаются с суховатым звоном на аккуратные полешки. Жалко горемычных на растерзание прожорливой печке отдавать. Но куда деваться? Наберёшь их полную охапку, а они звякают чутким своим древесным нутром, протестуют против неминуемого заточения в печь.

Трогательный и печальный звук их прощального падения у печки, как камертон, настраивает все остальные деревянные предметы в доме: и скрипучий пол, и винтовую лестницу, ведущую на мансарду, и старый почерневший буфет с обыкновенной нынешней посудой, издающий странные надсадные звуки, от которых неуютно на душе, как от ночного, протяжно-тоскливого нутряного скрипа, каким скрипит старая берёза за окном, задевая крышу.

Но когда гудит в печи ровное сухое пламя, когда там потрескивает, попыхивает и чайник закипает – что тогда все странноватые звуки и шорохи, какие таятся по углам, дремлют в неподвижных предметах... Что тогда слякоть

и дождь за окном, и твоё одиночество, и гости, которые не отважились посетить тебя в непогоду в опустевшем дачном посёлке?

Не утихает дождь, и ветер не спит. Соединившись, две стихии затевают дьявольские пляски на железной крыше. Лёгкий топоток переходит в дробный топот, словно там, на крыше, черти что-то не поделили, рассыпали и бегают, собирают, толкутся, зазывают другую нечисть на помощь...

Но вдруг – тишина. И сквозь тишину – неслышное, непредсказуемое вторжение лёгких пушистых снежинок. Как итог ветрено-дождевых схваток, как давно задуманный итог. Они летят, быстро пересекая освещённое окнами пространство, и снова уходят в вязкую чернильную темноту ночи. Их всё больше, и нет в них уже той первоначальной робости, а есть головокружительная смелость полёта, чистота...

А поутру застыла вода в кадлушке. Снег перестал ещё ночью. Его и выпало-то немного. Замёрзли астры, склонив почерневшие головки, тускло поблёскивая среди снежных осыпей. Стрекотали сороки на заиндевельных крышах. Ледяная вода обожгла, освежила. Снег задержался на ягодах облепихи. Залётная сорока со вкусом уплетала подмороженные ягоды, раскачивая заснеженный куст. Алым пламенем горели рябиновые гроздья за оградой соседней дачи. Не удержался, сорвал одну веточку. Занёс её в дом и продел сквозь прогалину в ветвистом сосновом сучке, стоявшем на окошке. Луч солнца заглянул в окно, и тонкая нитка паутинки с крохой-паучком, запутавшимся в ягодах, сверкнула в солнечном луче тепло, почти по-летнему.

*Посёлок Южный, октябрь 1985 г.*

## Поле благодати

Весёлый прорыв в глубинку на Шумиловские чтения – в Ильинку... Чудное место среди снежных увалов. Полевые просторы. Окоем не охватишь взглядом. Чистота. Белоснежье. Первозданность. Пиши полотна набело, художник! Жаль только, нет птицы-тройки, звенящих бубенцов... А может, и есть. Да не встретились на пути...

*То ли воздух здесь другой?*

*То ли тишина другая?*

*Колокольчик под дугой –*

*Зазвонит, оберегая,*

*Розовой зари покой...*

В дороге слагались стихи. Чуткозвонкая тишина ильинской округи дарила забытыми, «жилистыми» (от слова – жильё) звуками – гуси гоготали во дворах, где-то блеяли овцы... Деревянный домик, прикорнувший на гребне увала, звал погостить. Резные окошечки, осветлённые снежной тишиной, светились. Складно подобранные брёвнышки, узор наличников, венцы...

Забытого – не насмотришься, тишины – не наслушаешься. Жива ещё русская сказка! Притаилась... А все жива! Дремлет здесь, в чистых снежных увалах, в тиши...

И бабушка, словно из забытых времён, встречает нас у калитки. (Как увидел её – вспомнил свою крёстную,

шестидесятые годы, престольные праздники, певучий сибирский говорок, охранявший наш детский слух!)

Прошли во двор с деревянными постройками, сараюшками... Высокое крыльцо. Как здорово! Сенки, кладовка. Клонишься, входя в невысокую горницу. С непривычки – оглядываешься. Давно не был в деревенской избе. Миг... И народу набилось – куча. Нас, гостей, человек семь и родни шумиловской чуть поболе.

После двух выступлений – в Новообинцево и Шелаболихе и здесь, в клубе, в Ильинке, – аппетит у всех зверский! Да ещё свежий воздух! Да круглый хлебный каравай на столе. Да отборные солёные огурчики с пупырышками – поверх капустки! Недолго посверкали. Тут же разобрали, расхрустелись! Лепота! Картошка зашипела на сале. Дошла... А бабушка опять в кладовку ныряет – за новой партией огурцов из кадушки. Под подспевшую картошечку. Разрумянилась, помолодела! Как же – Ивана Леонтьевича (царство ему небесное!) вспомнили. Книжку его напечатали, из Барнаула привезли! Родня шумиловская съехалась. Вдова Валентина Матвеевна, сын Владимир, дочери – Ольга и Людмила... Вспоминаем Ивана Леонтьевича. Знакомимся. Дарим свои книжки с автографами. В оконца – тихой горлицей синь сумерек. Свет снегов предзакатный.

Я притих у печки. Слушаю приветливую шумиловскую родню. Вглядываюсь в лица. И, как бывает на бегу, в забытии, перед дорогой, чудится мне, что это со мной уже было! Такое же краткое застолье с настоящей деревенской едой. Где? Когда? На каком недолгом причале?

Потом всплывёт – и как внове вспомнишь вкус хлебного каравая, хрусткие огурчики (словно из шмелевского

«Лета Господня»), хлопотунью-бабушку, напомнившую крёстную. Бревенчатый дом в снегах. Высокий избяной порожек. Резные узоры наличников. Снежные холмы и увалы памятной Ильинки. Встречу с односельчанами писателя Ивана Леонтьевича Шумилова.

...Родное поле забытой благодати. Вдали от шумных городов, в звукопевном просторе, среди берёзовых рощ и сосновых борков по-над Обью.

## Побыть в тишине мимолётной...

Первый календарный день зимы. Утро пятых Шумиловских чтений. Едем в Черемное – в школу сахарного завода.

Глаза отдыхают на чистом белоснежье и белостволье берёз. Небольшая церквушка у въезда в село. Место освящённое... И мы это почувствовали в самом начале... Остальное пришло чуть позже. После встречи с учениками и учителями Сахарозаводской средней школы, что в Черемном.

Нас встретили тепло и радушно... (Вслушайтесь – тёплая радость души...) «Сладкие» эти места поселили надежду в сердце – «всё не так уж плохо, братцы!» (автоцитата). Живы ещё очаги культуры; юный народ наш сельский тянется к живому слову. Помнит своего замечательного земляка Ивана Леонтьевича Шумилова и его творчество. А главное, что сами ученики и учителя-наставники, работники библиотеки, с которыми мы познакомились там, в Черемном, – люди неравнодушные, люди творческие.

Девятиклассники читали нам свои стихи. Подарили на память изумительные игрушки, сделанные собственными руками. Владимиру Коржову – сказочного кота в сапогах. Мне – симпатичного бычка и картинку с сюжетом из русских сказок. Разве забудешь такое?! Нет. Всё это вновь будет в тебе оживать и беречь душу... И мимолётность встреч, и даль расстояний, и нараспах – на расстанях – обронённое какое-нибудь тёплое слово, как промелькнувшая луковка сельской

церквушки, вдруг остро врежется в память и очнётся потом... Позже... Уляжется строка к строке. Внезапно запишутся (мне по душе слова «запись» и «затесь») стихотворения о зимнем Павловске (центр Шумиловских чтений) и о подаренном школьниками-черемновцами синеглазом бычке...

Лёгкий, невесомый снежок летит на ладные павловские дома, деревья, на сказочное грибное приволье (кто не бывал в Павловском светлом бору в пору грибную?!).

...Больше всего люблю зимние пейзажи! Просторные. Освежённые белоснежьем. Таким я увидел зимний Петербург (тогда Ленинград) в восьмидесятих годах прошлого века. А тут впервые – зимний Павловск... Нетронутые нынешним разором памятники старины, небольшое (в отличие от Барнаула) количество машин... И зимний Павловск над Питером, на горах – я тоже вспомнил. Там мы глотали целебный воздух впрок. Наш алтайский Павловск по части воздуха – тоже находка. Того же отменного качества. Не надышишься. Хоть три часа погостить «в тишине мимолётной», побыть с тишиной под старинными сводами Центральной павловской библиотеки, словно погостить у дальней родни...

Знакомые лица – с первых Шумиловских чтений – узнаю... Тогда чтения проходили в тихой глубинке – в деревне Ильинка. Мне довелось познакомиться с шумиловской роднёй, поговорить с односельчанами Ивана Леонтьевича Шумилова. Отсвет той встречи в душе и поднесь. С таким же светлым чувством мы покидали Павловск и в этом, 2006 году – его осветлённые снежные просторы, его благодатную землю – колыбель талантов.

*Побыть в тишине мимолётной,  
Мгновенной, как сон, тишине...*



## Времена

В тени дровяного двора на Малотобольской... Как-то летним полднем разговорились мы с одним пчеловодом. До того разговорились! Не пчеловод, а кот Баюн сказочный. Держит он девяносто ульев-одиночек, девять колхозных... Андрей-пасечник... Дед ему рассказывал: «Один был на всю деревню вор. И чтобы он не воровал, ему – кто овечку, а кто зёрна...»

Во времена были!..

*Ул. Малотобольская, 2001 г.*



## Глоток колодезной воды на родине поэта

Панфилово!..

Бревенчатый дом на пригорке – в берёзах. Рядом – старый, заколоченный, замшелый... Мы рыщем в тишине двора. Стайки, сараюшки, банька... Благодать простора дровяного!..

В тени – на бревенчатой стене – высохшее, сгорбленное временем коромысло; прислонённая к брёвнышку литовка... Трогаем старое дерево, его замысловатые излучины... «Ребята, кованые навесы на двери – посмотрите!..» – говорит нам зять Николая Черкасова Андрей Жданов. Дай бог ему здоровья да удачи – благодотвори-телю – за учреждённую премию имени поэта Николая Черкасова.

Господи!.. Скинуть бы ботинки да босиком по травушке-муравушке! Побегать здесь – на широком приволье, отдышаться от шума и гари городской.

«Смотри, какой здесь огляд! – говорю я Валере Тихонову. – Справа – бор сосновый, слева – просторы вольные!..»

Через Черкасовскую улицу (табличку с именем поэта на дом прибьют через несколько минут), через вольно цветущий огород взгляд летит к высоким тополям вдаль... А там – кони, кони на травяном выпасе... Дальше – даль, облака...

Дышим привольем... Пьём колодезную воду, чистую

и прозрачную, как это утро – утро 18 июня, канун рождения поэта Николая Черкасова...

«Давай курнём на родине поэта», – вылетает у меня строчка. Валера подхватывается, продолжает... Дарим черкасовскому крылечку, новым радушным хозяевам, тихому травяному подворью на пару содеянную строфу... Не хочется ничего записывать! Гори она синим пламенем – запись!.. Здесь всё кругом рассыпано строкой! Ходи да подбирай. Искрит поэзия!.. Из каждой летней тучки дышит...

И мы, хлебнув колодезной воды, простора – через край... Мы родиной поэта дышим...

*с. Панфилово, 18 июня 2004 г.*

## Затон, где хранится память

*Полвека назад старый Барнаул походил на деревню. Своими неспешными ритмами, наличием поющей и мычащей живности, лошадьми, телегами, городскими чудаками...*

*Речь была разнообразна и неизмеримо богаче. (Антуан де Сент-Экзюпери ещё когда забил в колокол: «Достаточно услышать песню XV века, чтобы понять, как низко мы пали!») В 50-60-е годы родник речи ещё не был замусорен. Ещё звенела в тенистых старогородских проулках добротная, живая, напевная речь, вывезенная из алтайской глубинки.*

*...Бабушка моя разговаривала так, что можно было записывать набело. Старые песни под трофейную трехрядку – где их теперь услышишь? Как вернёшь необратимый воздух тех лет? Как ни странно, вернуться можно. Одно из таких мест, где хранится память, – Затон...*

Когда пропадёшь надолго в затонских лугах с собакой, хочется там остаться. Родной Барнаул кажется пыльным, шумным, суетливым. А настоящее – здесь, среди тихих протоков и ручьёв, в изумрудной зелени луга, среди чаек, травы и деревьев; в бездонном убегающем просторе... В тишине.

Летишь по ровному серпантину дороги, проскакиваешь через Обь по новому мосту – и ты в другом мире. Вот она – красота. В пятнадцати минутах езды на автобусе.

Сохранили бы, не извели места эти раздольные. Не заставили панельно-каменной серятиной.

Прямые стройные аллеи тополей на Бобровской протоке. Загляденье. Маленькая Венеция в тихом солнечном утре.

Вода постепенно спадает.

С палубы теплохода хорошо просматривается Шубенский остров. Отчалила лодка от берега. Быстро мелькают вёсла. Старушка лет семидесяти лихо правит в сторону причала, где застыл наш РТ-66. В считанные секунды лодка у берега. «Островитянка» с двумя полными тряпичными сумками спешит к остановке автобуса. Продать зелень с грядки ей проще в городе. Рыночная экономика никого не обошла. Суровая проза выживания. Это мне – проезжему – романтика и сказка, «Венеция на воде», а жителям трёх затонских островов тоскливо пережидать на крышах наводнение.

«Вода не шутит», – возвращает меня на грешную землю В. Бодров – первый заместитель директора БРЭБ (Барнаульской ремонтно-эксплуатационной базы) флота...

Окно его кабинета распахнуто как раз на самый подтопляемый Шубенский остров. Высокое каменное строение среди старых тополей – бывшее речное училище. Всегда нас тянет недоступный берег. Жизнь там кажется иной. Житель степи мечтает о большой реке. Рождённого вблизи реки влечёт другая стихия. К чему это я? А к тому, что среди состава уцелевшего затонского флота много выходцев из широких кулундинских просторов. Владимир Николаевич из их числа. В его кабинете всегда много народу. Телефон не умолкает.

Разговоры-переговоры, как в радиорубке где-нибудь в верховьях Оби.

...Три капитана раздумчиво помалкивают. В глазах – озабоченность. Как там сложится? Путь неблизкий. Север всё-таки. «Нижний Аган, Вах...» – слышу я незнакомую музыку названий. Малые северные реки, с малыми глубинами. По ним пойдут буксиры с грузом. А поведут их они – опытные «речные волки». По искоркам, загорающимся в глазах одного из них, читаю: рад предстоящей дороге. Радость всегда невдалеке от заботы. Да и недолго длится. Не с потолка беру. Сам пережил однажды:

*Покидаем порт. Такое дело.  
Наконец-то покидаем порт,  
По мазуту ползать надоело,  
Рвать болты и красить краской борт...*

В моменте отплытия – тайна. Обряд. Речника могу опознать по облику, по речи. По внезапно точной фразе. «...Вода – она липучая. Тебя будет тянуть к реке...» Это в момент расставания с речным флотом сказано. Не забываются и поныне слова прозорливые.

Всего-то двенадцать лет прошло. А сколько с тех пор поменялось!

Перед причалом прошли мимо старого дома с верандами. За одним из больших окон уютно и как-то по-немецки (доводилось видеть в Германии) сидели две куклы и щенок. Куклы глядели, как живые. От бревенчатого дома на затонском берегу веяло чем-то сказочным, какой-то своей, непоселковой жизнью...»

Славился раньше Затон своим хлебом, затонской килограммовой буханкой мерили весы – клали вместо гирьки. Показывало ровно килограмм. Забытая порядочность...

Эпизод с затонской лодкой я услышал лет пятнадцать назад, в поезде.

– Вы же в смерть шли... – донёлся до меня разговор со второй полки.

– Ещё бы... Представляешь – ночь, река. Берега не видно. Тихо... Плывём до Затона. Пилки в зубах. Как пираты. А нам лет по двенадцать. Старшие лодку не дают. Где хочешь, там и бери. А рыбачить-то охота. Вот и решились. Жутко плыть по ночной реке. Говорим вполголоса. Держимся тесной кучкой. Четверо нас было. Отстанешь – страшно. Пилка в зубах. Проплывёшь немного – передаёшь другому. Отдышишься, чуть вздохнёшь и опять пилку у товарища забираешь. Доплыли. Перепилили железную цепь. Думали, назад полегче. Дудки! Лодка-то дырявой оказалась...

– Вот не повезло, – отозвался сочувствующий голос.

– Неужто потопили?!

– Дотянули с горем пополам. На руках до острова кое-как переправили. Потом в конопле прятали. Перекрашивали.

– А дома-то что говорили?

– Что рыбачить идём с ночёвкой, а сами лодку тырим...

– Да, весёлое у вас детство было...

– Весёлое. До сих пор встретишь кого – как брата родного. Всё детство на Оби, на протоках да на островах. Младшие тянулись за старшими...



Затонский хлеб, украденная лодка, затонское приволье, простор. Каждый третий житель – речник или родился в семье речника. Ходить учился на палубе.

Всё перемешалось, как в жизни. А Обь течёт и течёт. И никто не знает, по каким законам. Зачем ответвляется, разбрасывается, раскидывается рукавами, протоками, излучинами. Меняет русло, унося большие массы песка неведомо куда...

Забытый покой. Вот о чём напоминает Затон. В лицах, в разговорах, в деревянных домах его, в самом воздухе ещё сохранилась патриархальность уклада и... чудаки не перевелись, как в старом Барнауле в добрые старые времена. И слава Богу.

Пуст причал. В тихом утре никого. Шелестит старый тополь на тёплом июньском ветру. Высокий бревенчатый дом с верандами отбрасывает тебя в старгородскую, забытую давность. Весёлый пёстренький вольный петух носится по берегу. Проплывают небольшие катера, буксиры. Волны ударяют о борт дебаркадера. Не отрываясь, смотрю на солнечные водяные дорожки, вслушиваюсь в забытую музыку плещущих волн. Теплоход отбывает на Барнаул. До свидания, Затон!

*Август 2002 г.*

## Музыка на воде

*(Речные записи)*

Был конец апреля...

Пробивалась трава. Мы бегали со щенком по речному полуострову наперегонки. Подбегали к воде. Трой зарывался мордой в речной песок, рыл лапами между корней и коряг. Я бросал палочку вдоль по берегу.

Объ неслась широкой водой. Играя, Трой скатывался вместе с песком, как на саночках, к ледяной мутной воде. Резвился до одури. Набеганной дорожкой между ив и тополей – возвращались – вдоль несущейся реки.

Блеснули слева баржа и катер на приколе. Высокая, выкрашенная в голубой цвет становая лебёдка нашего земснаряда. Жив, курилка! Поближе – рассмотреть, вспомнить.

– Ми-ха-ил Федо-ро-вич! – крикнул я с берега. Залаляли собаки на палубе, как на кержацком хуторе. Высокая тёмная фигура кэпа во флотской чёрной фуражке и фуфайке возникла на палубе.

– Са-ша-а-а!.. – крикнул он мне через воду, через солнечные сверкающие блики, присел у кнехта...

Сердце моё запело днями и ночами вахт, ремонтов, непонятных названий звуков и мест. Я вспомнил дни и ночи на холодной реке...

Это было двадцать лет назад. Я в три дня уволился из редакции газеты «Моторостроитель», а на четвёртый уже красил борт путейского катера, летал как на крыльях по палубам красивого земснаряда «Обский-1003»...

Я с детства любил корабли, книги про море и про пиратов. На реке черпанул полным черпаком водной романтики. Успел тогда, в начале «перестройки». Сейчас бы не получилось. Вот уж и век другой. И большая часть жизни за бортом...

А Обь течёт и течёт и бурлит, и шумит водой на перекатах. Прыгают вороны по песку свеженамытого острова смешной торопливой иноходью. Оставляют странную вязь следов по каким-то своим, только им ведомым замыслам... Кто прочтёт эти тайные письма? Кто разгадает? Неостановимы – ни Обь быстробегущая, ни течение жизни нашей...

Уловленные на речном ветру и запечатлённые в слове мгновения записывались ещё в другой стране, в другом речном флоте, среди матёрых речных мудролюбов, каких и не сыщешь теперь. Записывались с пылу с жару и сразу набело. «С водою не шутят», – так говорили на реке тогда...



## За Обью на острове Помазкин

*Декабрь 1987 г.*

### 1. Снегопад над Обью

Бредём по пушистым сугробам. Утопаем. Как чисто в просторе, осветлённом снегами! Пронесятся КамАЗы... Снег летит на застывшие суда, на окраинные домики – вдоль обрывов. Элеватор смотрится серовато-молочным таинственным собором. Дорога вдоль берега обрывается. Спускаемся на лёд Оби. Он покрыт толстым слоем свежайшего снега.

Два путника в свободном брейгелевском пространстве. Деревья, высветленные чистотой и первозданностью снежного пришествия... Лёгкий, невесомый – лети, лети! Не надыхаться твоей чистотой впрок!

И этот дом под обрывом, и зимующие лодки, и пробегающая собака... Её отчётливый звонкий лай в предвечерней чуткой тиши...

Железнодорожный мост в снежной пелене. Его чёткие очертания размыты воздушной акварелью.

Фигурки рыбаков у прорубей, словно конусообразные мешки, присыпанные снегом...

Бредём усталые. Почти не говорим. Дивимся расщеплённому тополю в обрыве. И ему, должно быть, радостно. И ему отраднo подышать в снегопаде. Ещё не закоптили, не загадили цивилизованными отходами белоснежье... И мы протаптываем две тропинки

на белой неподвижной глади реки. Две тропинки. Надвигаются сумерки. Ильич раскраснелся. Устал старик... Он сегодня набегался.

## 2. На приволье

Морозец. Ветер. Снег, упруго хрустящий, смёрзшийся. Освобождаем трос. Он зацеплен за прибрежные деревья и ведёт до понтонного кнехта.

Горки хрустального льда. Их всё больше и больше. Тянется траншея. Льдины звякают друг о друга. Удар ледоруба. Удар лома. Хрущенье лопатой.

Красноватый отблеск солнца проясняется между чёрными деревьями. Снег бел. Солнце робко. Лёд звенит. Звенит, откалывается. Углубляется траншея. Руки наполняются металлически льдистым гудом. Лицо обжигает свежий ветер.

Собачий лай. На белом – две ярко-рыжие, как лисы, собачонки. Кидаются на нас. Отпугнули. Возникла женщина. Сторож лодочной станции. С ней пятимесячный кобелёк – дурашливый. Акселерат. Ростом со взрослую овчарку. Зубы у него, видно, чешутся. Он то и дело хватает небольно за верхонку то Ильича, то шишкаря, то меня.

Одна из огненно-рыжих собачонок – японская. Симпатичная милая мордочка. Несимпатичен прикус зубов. Филька (вторая рыжая собачка) – самый недоверчивый, самый пустолай. Зато лучше всех службу несёт.

– Думала, наши кто прорубь пробивают, – бойко заговаривает сторожика. (Что пакостят на наших понтонах, она в курсе.) – Доплачивали бы рублей тридцать (времена советские), а то пятнадцать сулят, тогда я бы следила...

Получает она за свою охрану от кооператива лодочников 180 рублей. Неплохо устроилась. На свежем-то воздухе да в этакой тишине.

– По ночам жутковато? Без собак-то, наверное, никак? – спрашиваю.

– Что ты?! Без них страшно... Я ж в апреле мужа схоронила...

Резвятся рыжие и пегий телок на вольной волюшке. Они – само движение, сама жизнь. Без затей. Прыгай, бегай по снегу. Охраняй хозяйку да недоверчиво обнюхивай чужаков.

Да, побились со льдом мы на славу! Высвободили всё-таки злосчастный трос!

Когда мы уходили, Филька с телком за нами увязались было. Филька всё наскакивал, рычал для острастки. А телок дурил, игрался. Я оглянулся на покидаемое приволье, на белый бугорок, где, по словам сторожихи, «зайцы по ночам стаями резвятся». Крутились снежинки, заволакивая речной простор.

И вдали ещё различим был силуэт старухи и длинного подростка в непомерного размера белой шапке, добывающих воду из проруби, что на середине реки...

### **3. Оттепель в декабре**

Середина декабря... Внезапная оттепель. Свежесть весенняя, и воздух пахнет по-весеннему. Рассвело и ещё больше пригрело. Отовсюду полились капли. Капало на палубу. Пахло снеговой водой. Светило солнышко. Что-то было в воздухе тихое и светлое. Песенки водяных струек.

...На обомшелой крыше сарая – кормушка с пшеном. Воробьиный подкорм. Крыша подтаяла...

Выходил за ворота ремонтных мастерских. Смотрел на вышку спасательной станции. Вспомнились маяки над морем. Тополиные ветки светились изнутри. Словно в них томился некий свет, которому так хотелось воссоединиться с недолговечной оттепелью. И была внезапная радость – идти по хлюпающему, раскисшему, снежному, что ещё недавно было льдом...

#### **4. Старый капитан** (*Барнаульский техучасток*)

С одиночеством в обнимку да с костыльком... старый грузный капитан пришёл в родной коллектив поговорить...

– Хоть бы зашли. Никто глаз не кажет. В шахматы бы поиграли, – обращается он к усатому штурману и мрачноглазому механику. И продолжает укор: – А рыбы-то тот раз гнилой принесли.

– Да не приносил я рыбу, не передавал, – открещивается усатый.

– Эх, черти, хоть бы зашли, – продолжает капитан. – А рыбу-то какую подсунули!..

– Да не я её передавал, – опять взрывается усатый.

Грустное зрелище – капитан не у дел. Старый, с болезнями. Жену схоронил. А вина как бы на всех. Забыли, мол. Пока всех учил, был нужен. А тут.. Забыли...

#### **5. Макушкин – внук томского купца-мецената** (*Реммастерские техучастка*)

– Ты про своего командира напиши, – наставляет Макушин, – а то он через два-три года крякнет. Он же еле ходит. Трудолюбивый потому что. Вон командир

1006-й – тот ленивый. Тот долго проживёт... А этот и в отпуск-то толком не сходит.

Макушин – с макушкой мужик. Лицо круглое. Живот. Голос. Говорит бодро.

– Про жён даже не спрашивай. Их у меня было! И все с чемоданчиком... Не пожилося!..

## **6. В «горбачёвщину»...**

Утро морозное, утро ремонтное...

Мы сидим в ватниках и валенках в машинном отделении. Перекур перед работами. Вбегает Паршивый. «Мужики, ситрусовый в лавку привезли!»

Всеобщее ржание...

«Мне главное – втравить...» – признаётся Паршивый. То есть побольше народу из команды приобщить к возлиянию, ибо он в качестве добровольного гонца незаменим. И блат (словечко «застойное») в гастрономе имеется. С народным напитком-то напряг! «Горбачевщина» на дворе...

Руки у вестника, надо сказать, ходят ходуном... Потому как не просыхает он уже давненько. С конца прошлой навигации. Потому и завозу цитрусового одеколona в лавку рад...

*Январь 1988 г.*

## **7. Поморский сказ (Верхняя палуба земснаряда «Обский-1003»)**

– Самое лучшее время в жизни у тебя, Ильич, какое?

– А это в ремеслухе. Я там впервые досыта наелся. Шесть месяцев отучился. Потом на судоверфи в Петрозаводске работал. В семнадцать лет стал стахановцем. Дали путёвку на Рижское взморье. Там



масло было дешёвое по тем временам. Яблок полно. Я два чемодана привёз. По пятёрке за штуку распродал. На деньгах в общежитии спал... Вот тебе и время...

Весь день мы сбрасываем снег с палуб. Снег ещё чистый, местами рассыпчатый, искристый, крахмальный...

Глаза у Виталия Ильича – цвета голубики. Поморские. Брови белёсые. Кожа на лице, как у индейца. Обветренная. Морщин мало. Ходит бодро. Быстрым ходом. В работе спор.

Гребём снег. Переговариваемся. Больше говорит Ильич...

– В Тотье меня все знали... С девяти лет по людям скитался. Отца посадили, мачеха выгнала. И полушубок, и валенки отняла. Нанялся пастушком. В тех местах леса – не то что здесь. Сосна так сосна. Сплошняком! Или берёза. Или ельники... Верест ещё. Из него «барабашки» делались.

– Какие «барабашки», Ильич?

– А это барабан и палочки. Коров приманивать. Идёшь по лесу, постукиваешь, аж в деревне окошки поузынькивают. Корова с телком отстанет, на «барабашку» отзовется. Ни одну корову ни волк, ни медведь не унёс. Стали поговаривать, Виталька, дескать, «петушиное» слово знает.

– А какое «петушиное» слово, – переспрашиваю, – волшебное, что ли?!

– Да нет. Это дедушка меня один научил. Старый, ласковый. «Ты, – говорит, – проси соли... Говори – грибы солить. А сам посыпай солью выгон. Дождик пройдёт, она в траву и впитается». Я всех коров к соли приучил. С ладони понемножку давал. Сам просолел.

Корова слизнёт соль, рука влажная, вытрешь об себя. Так солёный и стал.

...А раз бык племенной за мной погнался. Если б не банька на пути да не ноги быстрые!.. Нырнул я через частокол. Бык частокол разнёс. Я щучкой в маленькое банное окошко. Потом мерил. Голова не проходит... И этого быка потом солью приучил... Ласку-то только от коров да от доярок знал. Усну на выгоне... Коровы вечером прибредут... Лижут всего языками.

– А доярки-то за что тебя любили?

– За то, что молока не жалел. Мне же сто восемьдесят литров в уплату приходилось... И выручал я их... Бывало, корова в лесу отелится, доярку к себе не подпускает. А я телёночка на руки возьму, пронесу метров пятнадцать (силёнок-то немного было!) и передам доярке – новорождённого. Мне коровы доверяли...

А как-то уснул под плетнём. Слышу – крадётся кто-то. Глянул – лисица. Взял камень да и метнул. А это волк, только рыжий. И пошёл он восьмёрки выписывать. Напугался, видать...

Ильич хохочет, вспоминая. Смех у него детский, залиvistый. Так смеются бродяги, странники и старые матросы, пребывая в упоительном ладу с избранной стихией, будь то море, река или горная дорога...

– Плавал я на СРТ (средний рыболовный траулер) в Баренцевом море, – перескакивает через годы Ильич, – ...селёдку ловили, треску. По двадцать пять тысяч по-старому за путину «зашибали». Сутками с палубы не уходили. Трал по сто тонн рыбы брал за раз... А как на берег в Мурманске сойдём, сразу

в ресторан «Северное сияние». А там дамы в золоте... Проститутки!.. С виду и не подумаешь...

...Детей вот нет. По морям проплавал. Прогулял...

– А в Тотьму-то не ездил?

– А к кому ехать? Никто там меня уже не помнит...

Гребём снег. Подмораживает под вечер. Ильич покраснелся. Устал старик. Разбиваем куски льда, намёрзшего у кнехт. Обкалываем. Я – ломом, он – кувалдой.

Лёд рассыпается с хрустальным звоном, отлетает от железа и падает на лёд...

*Февраль 1988 г.*

## **8. Побег с «ремонта» на правый берег Оби**

Февральская оттепель. Пошёл посмотреть у лунок, как ловят рыбаки. Но уже знал, что вырвусь, не удержусь, и на тот берег, который всегда манит. Там сплетения деревьев с лиловым подсветом и синева, игрушечные домики какой-то заимки. Прошёл рыбаков, затаившихся от мира в целлофановых мешках. И от какого мира – предвесеннего солнца, белых снегов, простора...

Завернул за большой песочный гребень и чуть не бегом по снегу в простор, к тому берегу. Гребень словно бы защёлкнул за собой зимующие суда, рыбаков. И окатило простором душу, всё отлетело, отошло...

И снежный, крепенький, упругий наст зашуршал, захрумкал, оглушая... Звук этот, усиленный тишиной, преследовал, как шум погони. Валенки проваливались. Но временами, когда выходил на заструги, ноги шли легко.

Заструги – волнистые снежные островки. Их

проходишь, не проваливаясь. Можно даже бежать. Жаль, что их не так много.

Где-то на середине реки остановился на мгновение. Нереальная, снежная тишина. Белое безмолвие. Всё ближе берег дальний. Город, порт и элеватор затянуты в дымку. Еле просвечивают. Как радостен путь – ни за чем, а вон до тех деревьев, до тех береговых песчаных круч, до тех, отливающих голубым и зелёным, зазимовавших на заберегах льдин.

Но вот и берег. И просветлённые стволы, и ветви над ними. Вымоины, уходящие в песчаную нетронутую глубину. Внезапная тоненькая струйка песка сорвалась, змейкой скользнула. Снег, песок...

Вскарабкался по берегу. А там сорока – вечная сторожиха – застрекотала, забеспокоилась. Кого это нелёгкая принесла?! И остальная птичья мелочь всполошилась. Оглянулся и не могу различить: где они, эти паникёры?.. Сквозь снег выглядывают, пригреваются на солнце коряги, да корневища, да пеньки. А в кустах маленький дятел кого-то выстукивает. Бойко да сноровисто.

Снег всё глубже. Да не остановишься. Тянет как магнитом в эту тишину притаенную. Упорхнул дятел. Иду дальше. Уж не калина ли там рассверкалась так ослепительно на белом? И точно! Большой, усыпанный чудесными красновато-малиновыми ягодами куст. Чистые, подмороженные. А что за вкус! Чуть с горчинкой. И сладость, и кисленько. И бог ты мой! Замри на мгновение. Вглядишься в неподвижные деревья и кусты, окружившие тебя, в мартовскую потеплевшую синеву; вдохни полной грудью воздух, настоенный на тишине и чистых снегах, взгляни на доброе предвесеннее солнце, на редкие голубоватые тени...

Кажется, долгий зимний сон позади. Вот-вот природа стряхнёт его и заговорит по-весеннему.

*Апрель 1988 г.*

## **9. Перед дальней дорогой**

Вышли на «отстой». Похолодало. Прибарахлился старым матросским бушлатом. Первый день работать весело. Лазили на становую лебёдку. Потрепал нас ветер.

К вечеру тоже была весёлая работа. Испытывали новый движок на мотозавозне. Всё новенькое на нём. Поставили тонкую прокладку из паронита, а надо было резиновую. Вот вода и закапала из-под неё... Крутил ручкой по указанию механика. Он проверял зазоры клапанов.

А потом движок включили. Как весело и споро заработал новёхонький сей механизм!

Солнышко заглянуло в трюм, небо прояснилось, а он, движок, фырчал с охотцей. «Как часы», – сказал кто-то из мотористов.

Радость новорождённого. Поработал всеми своими затёкшими ручками и ножками. Поразмялся. Это ли не поэзия в чистом виде? Сгорает топливо, переливаясь всеми цветами радуги: коленчатый вал вращает распределительный, а дальше... Споро подаётся масло топливным насосом. Как мы ныли на ремонте: «Скорей бы навигация!» Вот до неё и рукой подать.

С работы шли весело – с поглядом на реку. В устье Барнаулки куча рыбаков с сачками. Щук выуживают. В автобусе ржали хором – от пустяков, от души, беззаботно. Это веселье перед дальней дорогой...

## 10. Ледоход

Ночью вскрылась река. Густая снежная крупа поутру. Плывём на теплоходе «Русло» к понтонам. Воды прибыло. Баржи мостоотряда перегородили реку.

Наблюдаем из рубки теплохода. Плывём на небольшой скорости. Врезаемся в ледяное поле. Форштевень легко режет льдины. Капитан «Русла» оживлён, разговорчив, он – в тельняшке, с закатанными рукавами. Весело жалуется, что не уйти с судна: «Ребята поесть принесут... А вот топлива всего две тонны осталось, а мне ещё баржи растаскивать и прочие плавсредства...»

Ловко проскальзываем меж баржами. Подплываем к понтонам, высаживаемся. Солнечные блики на волнах. Что вытворяет ветер с ними! Большая белая чайка кружится над течением. Обогнув песчаную косу, выходим на большую воду. Ветер усиливается. Не спасает тёплая шапочка, натянутая на самые уши. В глазах – блики, блики... От них серебрится река. Серебряные дорожки, как навар в супе, сдувает ветер. А они, неутомные, снова пляшут на том же месте. Огромное засасывающее пространство мутных барашковых волн. Тугой окрепший ветер в лицо. Всего продуло. Скорей в тёплую капитанскую рубку. Там говорят о протоках, которые минуем с левого борта. Вот Зимняя, а вон Талая. Одинокие домики, к которым всё ближе подступает вода...

Стоял на «носу» теплохода. Свесившись, смотрел, как льдины, набегающая одна на другую, с глуховатым треском отступают, давая дорогу «ледоколу».

## 11. Остальное время – навигация

Дождь сыплет в рубку мотозавозни. Стекло в дождевых каплях. Река серо-желтая, бугрится валами. Всё, что за стеклом, – серое, туманное, холодное. Мы сбились в рубке возле балагура Белкина. Он успевает рулить и соловьём заливаться – о проплывающих мимо. (Вон Петров прокопотил, а вон Иванов обгоняет!) Флот он знает наперечёт. От его неутихающего, вольного, словесного разлива нам, озябшим, становится теплей. Вспомнив «Фединых ребяташек, запертых в каюте, на земснаряде», Белкин перепрыгивает в своё, пережитое. Мать его вот так же «сопляком по реке таскала». Ходьбу освоил на палубе. Зимой в интернате. Остальное время – навигация. Выучился на киномеханика, да мало поработал...

Ближе к вечеру едем на лодке за знаменитым затонским хлебом. Причалили к берегу у чьей-то лодки. Прямо над береговой кручей – почерневший дом с верандами. Застеклённые веранды почему-то всегда притягательны. Кажется, что в них какие-то таинственные, чудные вещи запрятаны: и жизнь другая, необыкновенная, и... топится печь, и тепло. А вот щенок и тряпичная кукла мелькнули в стекле – резанули по сердцу...

Берег, дом, земля, трава – всё мимолётно, всё урывками, наскоком. И опять в железо, на воду, качаться на валах, глядеться в серенькие дали, колеть на речных переменчивых ветрах... Мечтать о кружке горячего чая в полусвете настольной лампы – после вахты, в каюте. О хорошей книге, как о заповедной радости...

К левому борту земснаряда подчалил буксир

«Паводок». Он потащит нас к Копанскому перекату. Его привальный брус (Эльбрус) чуть повыше уровня наших иллюминаторов. Жаль... Заслонил (слон!) простор реки на эту ночь. С борта, из машинного отделения «Паводка», льётся вода. Маленький водопад...

## 12. Предотъездное

...Надо вспомнить, надо снова вернуться в опьяняющее русло того серенького дня, когда мы поехали за продуктами – от первой своей стоянки, напротив «овчинки». И серое небо того дня с овчинку, и накрапывающий дождь, и всё грустно-серое, с печалинкой. И как мы трюхали на мотозавозне. И как причалили с горем пополам к дебаркадеру. И как неузнаваемо изменился зимний Ковш. И как в Красном уголке участка получали продукты. И другие команды получали. И мелькали свежие, обновлённые, не те скучные лица с ремонта, а новые, хоть и те же. И совсем новые. (Видимо, жёны плавсостава.) И казённые банки тушёнки. И сердечное «Здорово, Саня!» механика Миши Зубарева с 717-й. И как мы прыгали через их «машину» на свою мотозавозню. А им нужно было срочно отчаливать. И какое было озабоченное, предпущественное лицо у их командира Дмитрича...

Любимое состояние дождя, запах дров, плащ-палаток, мешков: что-то неуловимо-предотъездное, неповторяющееся, неповторимое...

## 13. Отплытие

20 апреля – день выхода из порта. Покидаем стоянку. Отчаливаем. Что происходит до этого? Дружное мытьё палубы в шесть пар рук.



*Покидаем порт. Такое дело!  
Наконец-то покидаем порт.  
По мазуту ползать надоело,  
Рвать болты и красить краской борт  
Земснаряда... Наведём порядок,  
Палубу надраим... Заблестит!  
Полной мерой мышечная радость,  
Щётку в руки и... пошёл скрести.  
А вода тяжёлою струёю  
Всё смывает за борт – не вернуть!  
«Паводок» нас тянет за собою  
Мимо льдин холодных в дальний путь.*

И вот теплоход «Русло» подплывает к нашему борту. Буксируемся. Идём в ходовую рубку. Стоим с Тимофеем Ивановичем у перил. Он словно стакан спирта хватил! Такие словесные перлы выдаёт под долгожданное движение, под лёгкий вечерний ветерок, под солнечные блики...

Под нами проплывают баржи, катера, «путейки». Они остаются, а мы плывём...

Когда отчалили от стоянки, все щепки, брёвна, обломки ринулись за нами. Куда же вы?! И сердце сладко кольнуло, и подул лёгкий ветерок. И вот замелькали по сторонам суда, а «Ганс» грузил уголь на баржу. Ему, крану портовому, что до нашего пьянящего движения?!

Проплываем элеватор, развалины бывшего подвесного моста. Какая-то группка с берега что-то нам кричит. А мы плывём...

Кэп отдаёт концы матросу с «Русла», и... распростились... Умчало рубку с толстеньким капитаном.

Следом прошёл теплоход «Паводок» с мордастым

балагуром-механиком, похожим на Карлсона, и с молодым капитаном...

...Мы с Ильичом забираем трос со своей «машины» и заводим его на мотозавозню – к понтонам. «Зацепим за шар тросом и закроем замком», – поясняет Ильич. Сделано! Кэп мотозавозней тащит понтоны к земснарядному шару, к корме. Филигранная работа! «Выбирай кормовой!» – немножко торжественно, с волнением в голосе передаёт кэп по радиии первому помощнику, стоя на «носу» мотозавозни.

Кормовой трос пошёл внатяг. Понтоны плавно подходят к корме, сталкиваются с земснарядом. Быстро затягиваем болтами крепления. Порядок! К походу готовы!

Когда пошли понтоны, началось невообразимое. Стали сопротивляться их движению все коряги, сучки и затопленные кустарники в округе. Раздался хруст. Как живое захрустело обкатанное водой дерево, поднимаясь всё выше. Так люди бы упирались в надвигающуюся на них гору...

...Высоко – в рубке управления – раздаются команды: «Отдай левый!.. Отдай правый!..»

А потом наступают сумерки. Тихая вечерняя река. Комар, поющий над водой. Притихшая Обь. Какая-то родная «машина». Ильич у левого борта. Дивная пустота. Воля. Покой. Тишина. Тарахтенье проходящих катеров. Затопленные кусты тальника в отдалении...

А потом кэп ведёт меня и электрика Ваню к причалу. Увольнение на берег перед отплытием! Обрывы... А у самого берега – чёрная собака и трое подростков...

## 14. Первая ночь на «большой» воде

...Утром буксировались. Было солнечно, довольно светло. Вытянулись длинным караваном. Впереди белый буксир «Паводок». Редкие льдины, коряги, брёвна. Об одном бревне моторист Белкин заметил: «С куб будет...» Некоторые ледышки превратились в разные фигурки. К примеру – прозрачная льдистая корона...

Флот ожил. Проплывал даже красивый белый танкер.

А сейчас вот полночь. Стоим напротив телевышки с красными огоньками. По правому борту – сосны в обрывах. Домики. Сквозь тихий плеск реки вдруг прорвётся собачий лай. Прошмыгнёт в чернильной теми катерок с зелёным огоньком. И опять река разговаривает...

Звёзды к полуночи ярче. Земснаряд в сумраке так красив на фоне обрывов. Неподвижно застыл на якорях. Фонари над понтонами проложили зыбкие светящиеся дорожки.

## 15. Перед отплытием

Итак, первый вечер в каюте. Ветер прибывает борт земснаряда к барже. От проходящих плавсредств – волны. Сижу под домашней лампой, при её приятном свете. Надо мной, вверху, два иллюминатора, в которых впечатаны кружки, вырванные из баржевого стального громоздко-неуклюжего тела.

*Последние дни на суше,  
Последние так горьки,  
Роднее – родные души  
И дальние души – близки.*

Борение света и тьмы. И здесь оно происходит на глазах. Ни души на палубах. Вся жизнь теплится внутри, в тёплых каютах. Река теряет свой цвет, свои, так сказать, естественные свечения. Левый обрывистый берег неумолимо надвигается на её сверкающую поверхность. Словно кто-то невидимый набрасывает полог.

Огоньковыми дорожками плещется свет фонарей над лодочной станцией на левом берегу. Скромно мерцает звёздочка. Плюхает вода между бортом земснаряда и баржей. Весь в огнях железнодорожный мост. Он, как новогодняя ёлка, нашпигован огнями.

И всё-таки тьма от обрыва не заняла всей поверхности. На оставшуюся её часть протянулись зыбкие колонны разноцветных огней.

Ночной холод протягивает. И бушлат не спасает. Глядишь, слушаешь, запоминаешь... Но спустившись в каюту, что-то теряешь. То хрупкое, что связывало тебя с чистым месяцем и звёздами, подрагивающим судном и завораживающими переливами огней.

Словно обрывки каких-то разговоров долетают до тебя; осколки их. Кажется, кто-то ещё незримо присутствует, главенствуя над этим призрачным и всё же таким чутко осязаемым и видимым ночным покоем реки.

Хлюпает вода, и катерок, причаленный к понтонам, постукивает о железо. Железо бьётся о железо.

Первый час ночи. Вода вязкая и маслянистая около борта. Механик не спит. Из своей каюты, заспанный, прошагал в машинное отделение. «Какой там сон!» – буркнул, проходя. Шёл с каким-то инструментом.

Движок (его главная забота) обрабатывает параметры... перед отплытием.

## **16. К «пёстрому» бакену без руля...**

Сегодня командирские беззаботные свистки в рубке закончились небольшим ЧП. Послали мотозавозню в техучасток за профсоюзной лидершей. И кончилось это тем, что новенький двигатель советского производства отказал – вышла из строя система смазки.

...Мотозавозня неподвижно замерла на волнах, и понесло её, сердешную, к «пёстрому» бакену, что перед Затоном.

Быстро теряя остатки сносного (не говорю – хорошего) настроения, кэп выходит на радиосвязь: «Прибой! Прибой! Мотозавозню уносит. Уже снесло за «пёстрый» бакен».

Диспетчер начинает прикидывать, кого послать на выручку. «Сарыч»?.. «Сокол»? Останавливается на более благородной птице и разыскивает в эфире «Сокола».

А завозню несёт. Она уже чуть виднеется вдали.

Потом выясняется, что «Сокол» откуда-то из-под железнодорожного моста трюхает. «А радировали, что сейчас подъедут?! Как в стране дурачков. Оперативность», – выхлёстывается кэп...

Невозмутимый диспетчер приглашает его к начальнику отдела кадров по поводу предстоящей первомайской демонстрации. Очень к месту и вовремя! Впрочем, её дело – сторона..

...К мотозавозне подползает такая же махонькая лодчонка. Потом появляется буксир «Перевал». Тягостное ожидание.

«А ну как движок заклинит?!» – вскидывается кэп. Ждём. На спасение уплывающей бросается механик на личной лодке, усиленной мотором «Вихрь». В итоге – счастливое возвращение всех... И до самого вечера идёт замена каких-то трубок, очистка от масла и воды машинного отделения пострадавшей посудыны...

«Кто виноват?» – спрашиваю я у механика. «Адресанта аварии всегда можно установить, – глаголет он светло и весело, с чувством исполненного долга. – Виноват завод. Движок-то наш, отечественный...»

### **17. Семена разноцветных астр**

Приезжала баржа-наливнушка с говорливым шкипером. Закачивали дизельное топливо, сдавали оборот. На палубе у шкипера ящичек с землёй, с проволочным ограждением. В нём засохшие прошлогодние астры. «Снег шёл, а они цвели, – сказал дед-шкипер. – Разноцветные... Вот Герасимовне (поварихе) отдай семена...»

### **18. Палуба дневная, палуба ночная**

Кто-то обрыв поджёт – наискосок от земснаряда. Вечер с подслеповатым солнцем... А день? День был ветреный. Правда, с мытьём палубы. А это весёлое занятие. Мощная водяная струя брандсбойта. Щётки в работе. Порошково-мыльная вода.

*Старпом раздаёт инструменты,  
Брандсбойт вырывает из рук –  
Весёлые эти моменты,  
Старпом раздаёт инструменты,  
А ну, скоротаем досуг!*

*И щётки-сороки, трещотки,  
А палуба – всё голубей...*

А река течёт, течёт, течёт... Что ей до всех наших забот?! Пространство воды поражает, притягивает душу как магнит... Завораживает далью и необозримостью... Силуэты пяти сосен у обрыва на светлом небесном пятачке... Пять сосен.

...Утром, когда перелезил на мотозавозню, локтем заехал в плексигласовое стекло рубки. Оно вывалилось. С трудом потом вставили. «Надо было тебе головой его выбить!...» – прорычал кэп.

...Горят обрывы. Горит и полуостров, который между обрывами и левым берегом. Какие-то фигурки нет-нет да появятся у самого краешка... Поджигатели любят дела рук своих?!

...На ночной палубе ни души. Ожерелье ярких огней на понтонах. В самом их конце – высвеченная прожектором струя песка и воды.

На небе молодой, гладкий и отточенный серпик месяца. Редкие звёзды. С левого берега белый бакен мигает, с правого – красный маячит. Если бы не тарактел движок земснаряда, какая бы стояла тишина заповедная! Таинственной жизнью живут в эти часы и судно, и причаленные к нему катера, и мотозавозня. Кажется, все они – живые существа. Ночные. Светящиеся. Людей нет. И они здесь всем правят. Жутко и здорово! Целая светящаяся страна. А жители её где-то в недрах попрятались.

## 19. За вдохновением...

Однажды кэп разговорился на вахте. Вначале посвистел от души (свист у него дюже мелодичный!). Потом пошёл свободный поток речи обо всём и о литературе в частности...

Вспомнил, как четверть века назад лежал он в горбольнице. Наблюдал из окна психов (тогда «психушка» находилась в районе Дунькиной рощи). «Что они там вытворяют! – воскликнул кэп. – Зачем их десять лет учить?» (это уже об олигофренах – умственно отсталых).

Потом пошёл свободный монолог на литературные темы: «Читал я этого Булгакова, – рассуждает кэп. – «Белая гвардия» ещё ничего, а «Мастер и Маргарита» – не понял я его... Какая-то мистика... За такую книгу, как «Тихий Дон», я бы отдал десять таких, как «Война и мир»... Ну, дворянская жизнь... А сколько тогда дворян было в России?!» Вопрос. Пауза... Ответ: «Всего один миллион... А крестьян?! Или этот Пьер Безухов. Ну и что?! То ли дело Максим Горький...» Завершая вольную речь в рубке земснаряда, Михаил Фёдорович Витовтов (он же кэп) вспомнил своего родственника – поэта Николая Черкасова: «Гостил я у дядьки в Шадрино. Разговорились. И дядька рассказывает: “Ты знаешь, ведь Колька Черкасов приезжал... Поэт. Десять дней жил. В сенках спал...” “А зачем он приезжал-то?” – спрашиваю. И дядька с небольшой раздумкой отвечает: “А за этим... Ну, как его? За вдохновением”».



## 20. За хлебом в Затон

Едем за знаменитым хлебом в Затон. Ждём у магазина привоза. Старики – местные и приехавшие за хлебом из города – вспоминают, как им старшина на передовую носил боевые сто грамм...

«А сейчас что?! – недоумевают ветеран с костылём. – Пришли на встречу. Минеральной воды (времена горбачевские) выставили, еды полно было... А мы есть, что ли, пришли?! Пионеры концерт ставили... Нам бы по сто пятьдесят да с однополчанами поговорить, вспомнить... Так и ушли, а на столах всё осталось...»

Другой городской старик рассказывает, как били «душмана» (волосатика, который без очереди полез за водкой). «Жестоко били его мужики. Хорошо, какой-то офицер на машине остановился... Отнял, а то б забили насмерть», – заключает фронтовик.

...Идём с полными мешками. Перед причалом, справа, старый дом с палисадом. За одним из больших окошек – уютно и как-то по-немецки (доводилось видеть в Германии) сидят две куклы, щенок... И вообще, от дома веет чем-то сказочным, какой-то своей, не поселковой жизнью...

## 21. Огонёк в обрывах

Когда стемнело, внезапно повеял тёплый ветер. Вдали показались ходовые огни буксира с баржой. Медленно, с натугой идёт. Серая мгла с туманцем... От островка, что вдали, весело помигивает бакен, предостерегая: «Смотри, буксирище, смотри, смотри... Обходи, обходи левой!» А буксир не торопится. Тащит баржу. Взял левой – за ближний поворот реки.

Помедлил, посветил огнями на повороте, пропустив теплоход «Заря» с пустыми горящими провалами окон.

А небесная заря уже смерклась. Но силуэты пяти сосен в обрыве всё же просматриваются. Хоть и вязнет в тумане тёмная стена бора на правом берегу, но светятся прожекторами водонапорная башня, вышка телецентра... Огни речного вокзала – расплывшиеся, смутные, дрожащие – ещё различаешь сквозь туман... Где он там, город, со всеми, кто дорог?!

...Вода всё так же притягивает взор – её неостановимое, печально-говорливое течение... Где-то на середине обрыва, в соснах, засветился оранжевый огонёк... Видно, не всё догорело за день. Остались какие-то головешки и вот разгорелись к ночи, затеплили костерок...

Обнаруживаю, бродя по ночной палубе, ещё живого жука-водолюба. Как попал сюда? Вероятно, втянуло вместе с песком с речного дна...

Как противно скрипят натянутые тросы! Плотный, ржавый скрип железа – неизбежное дополнение ко всей водной романтике... Ну ещё раз мигни, бакенок!

А белый буксир с тёмной длинной баржей – один красный и три жёлтых огонька – растаял в пепельной дали...

## **22. Дамба у Затона**

По свеженамытому песку прыгают вороны. Песок тускло-золотистый, с кремнистым отливом. И вороны-первопроходцы решили оставить на нём побольше следов... Как смешно, по-хозяйски разгуливают они по не бывшей ещё вчера земле. Серые робинзоны. То как землемеры ступают важно, то, вдруг сбившись, переходят на какую-то несолидную

иноходь – скок-поскок и опять отмеряют лапками, и опять на иноходь...

В ширину намытый нами остров составляет шестьдесят шесть «кэповских семимильных шагов». А сапоги у него сорок шестого размера...

Дамба увеличивается, вода с бешеной силой устремляется в сужающееся отверстие, рушится песчаный берег. Уже скрыло прибрежные кусты, пообвалило. Ещё держится деревце облепихи. Весь большой цепкий корень вышел наружу: едва не касается воды, а всё держится, всё не сдаётся разбушевавшейся стихии.

...Скоро, скоро тебя затворят, запечатают намытым со дна песком – речной рукав. Отсекут у реки. А река съёжится, подберётся и, обогнув тебя, дальше потечёт. Побежит она дальше и уж не вспомнит о тебе – был ты? Нет ли? Не до тебя ей будет. Не так ли и отдельная жизнь, отсечённая у быстротекущего жизненного потока...

Никто не знает, по каким законам течёт река. Зачем разбрасывается, ветвится, раскидывается... А вот пришёл человек-пахарь, раскинул свои полукилометровые понтоны, натянул могучие стальные тросы на лебёдки, позабрасывал якоря... И тянет, тянет со дна песок тысячесильная машина. И чем выше и черней песочная струя, тем веселей на душе у командира и команды. Значит, дело идёт как надо...

*Май 1988 г.*

### **23. Случай с вербой**

Распушилась верба ярко на затонском берегу. Зеленеет милашка! И так захотелось нам веточек наломать. Тем более что понтоны-то к берегу прибило.

Убрали мы песок с напарником. Возвращаемся с концевой площадки.

– Ну давай, Саня, и мне нарви, – подбадривает старый пират.

Прыгнул я на берег. Затерялся в прибрежных зарослях, одурел от вида молодой листвы, от вербочек этих. Рву, бегаю от кустика к кустику, получше веточки выбираю. Ильич, старый хрыч, с понтона кричит:

– Кастрюлю захвати!

Это кэп его так вышколил – всё припасать.

А там, чуть в отдалении, и впрямь какая-то кастрюленция белеется. Подбегаю к бывшему кострищу-пепелищу, хватаю эту кастрюлю. А тот, на понтонах, опять чего-то прокричал, вроде того, беги, мол. Бегу. И прибегаю к шапочному разбору. Понтоны ушли – отнесло их то ли ветром, то ли течением.

Присел я у самой воды. Веточки вербные к груди прижимаю и, само собой, кастрюлю. И нехорошо как-то под ложечкой, неудобно. А до понтонов метра два с лишком, и ветерок опять задувает. Прямо скажем, плохо дело.

Было 1 мая. Вечером хотел домой отпроситься, а тут... Вот-вот гроза-кэп появится на понтонах.

– Эх, верёвку бы! – бухтит Ильич, шныряя по понтонной площадке, а на ней одни толстенные неподъёмные троса. Попробуй докинь до берега.

И вот кэпа несёт к нам! Прёт по понтонам, как крейсер по волнам. Уже и отчаянная мысль – в ледяную воду броситься да плыть.

А на дворе май только-только нос показал. Ох и ледяна водичка! Ох и не миновать тогда чахотки! Но, видимо, в этих пустотелых железках (понтонах

то есть) их железную совесть пробило или ветер помог. Только пошли они, родимые, пошли... Да остановились на полпути.

– Ильич, – кричу, – ты ветку, ветку вытаскивай!

А ветка метра на полтора в деревянный настил понтона врезалась и застряла. Водой её впаяло, однако...

Ильич шархнул на пузо (а шаги командоры где-то уже на двадцатом понтоне бухают), давай шарить да нащупывать эту ветку злосчастную. А она так застряла, что ни в какую! Кряхтит дедок, напыжился, а мимо кэп «на наше счастье и покой...»

Я лицо в сторону – вроде как на воду любуюсь. Ильич затих на пузе, сконцентрировался. Шея багровая стала. Кэп зыркнул мимолётом на вербные веточки. Что-то сказал. Не расслышали. Вода шумела. Дальше протопал. И понтоны, как по волшебству, двинулись к берегу. Ильич на самую бочку встал, я тоже напрягся, как ракета перед запуском.

– Кидай кастрюлю! Я поймаю! – кричит.

Поймал. Ну а я уж окаянный вербный букет покрепче к груди прижал и грохнулся на бочку. Чуток воды в сапог черпнул. С детства неуклюжий. Зато какая вербочка с того бережка! Загляденье!

Поделили мы букетик на двоих. Тем дело и закончилось, а кастрюлю под гвозди определили.

## **24. Пьяный пират**

Наш земснаряд стоит на середине реки. Вахта вместе с кэпом находится в рубке. Мимо тащит баржу небольшой буксир. Вдруг в эфир всплывает пьяное разухабистое пение: «Прощай, любимый город... Уходим завтра в море...» Куражливый глуховатый голос

внезапно смолкает. «Шутит, конечно, – усмехается в свои «княжеские» усы кэп. – Так бы и стал он, пьяный, радировать... Вон они два идут, на каком-то из них дурачатся...»

...Мы дружно поворачиваем головы в сторону элеватора встречу плывущим судам. Твердокаменную невозмутимость кэпа вдруг как волной смывает...

Один РТ добросовестно тащит баржу, а другой, словно велосипедист на асфальте, выделяет «восьмёрки» на воде. На полном ходу таранит он переднюю «эртэшку» и, резко меняя курс, прёт вперёд. Вот-вот в наш земснаряд врежется. Да бог милует. Пьяный РТ прижимается к правому берегу. Доходит до поворота. Стоит, думает и... исчезает с горизонта. Протараненный им буксир неподвижно застывает на середине реки вместе с баржей. Пострадавший судоводитель сообщает о пиратском наезде. Эфир разрывается возмущёнными голосами. Пьяный удирает куда-то вниз по реке. Мы горячо обсуждаем только что увиденное. Что интересно, пьяный РТ без опознавательных знаков. Номер добросовестно прикрывает разлапистая флотская швабра. Сколько ни тарацились мы в бинокль – не разглядели. Хитёр пират, хоть и пьяный...

## **25. Неукротимая Обь размывает дамбу...**

Примечательно, что у поварихи на нашем судне аллергия на муку.

«А как же вы стряпаете, Герасимовна?» – спрашиваю. «Надеваю на нос повязку...» – отвечает она.

«И ноздри затыкает ватой», – доносит Ильич, её добровольный помощник на камбузе.

...Утром вернулся – из увольнения – к уже готовой

дамбе. Перешеек из песка перекрыл рукав реки. И вот новая «радость» – перешеек размывает. Пока его возводили – река не дремала. Делала своё дело – гнала воду. Весенняя вода прибыла и начала размывать дамбу.

Вечер после вахты. День был насыщен разным. Светло-теновой, как всегда. Обычный день работы. Да нет, не обычный...

...Летим на лодке механика с «Вихрем». Пронизывающий ветер, валы... Весело, а временами дух захватывает. Бьют валы о днище. Как молотами внизу колотят – не волны, не вода, а какие-нибудь молотобойцы... По воде – без валов – летишь, как по ровному асфальту или светлому паркету. Какая отрада после вахты, после горячего душа, смыв мазут, надеть чистое и сесть за стол – к чистому листу! Трясутся переборки от постоянной, монотонной работы двигателей. Зато по радио – Моцарт или Гайдн, или Вивальди. Откроешь иллюминатор – там кружок неба и шум реки, а за стенкой, в соседней каюте – чей-то монотонный голос. Это Вовка-моторист читает сказки Андерсена Фединым ребятишкам. Здесь, на реке, особенно ценишь то самое общение, которого нехватка...

О бабушкиной душегрейке... Поневоле вспомнишь её корневое первоначальное назначение – греть душу. Она и согревает на речном неумолимом ветру. Набросишь поверх свитера и ощутишь – греет... Плеск и шум реки – постоянные, незатихающие, успокаивающие. Слышно за иллюминатором, как она там переливается, словно из кувшина льют и льют. А может, разговаривает Обь сама с собой?

*P.S.* Совсем забыл. Около восьми вечера подошло пассажирское судно «Москва». И наш механик принял

с носа «столичного» теплохода свою благоверную. Не ожидал её приезда, видимо... Поспешил из рубки. И мы с Ильичом вслед за ним вывалили на мостик... «Может, и моя старуха так приедет?» – неуверенно пробормотал Ильич. За спиной у кэпа он делает уморительные гримасы, закатывает глаза, становясь ещё более красным, чем он есть. Как варёный рак. Никогда не видел их варёными! Но лучшего сравнения всё равно не найти.

## 26. Доисторическая челюсть

Выбросил кэп доисторическую челюсть. Впору бы написать отдельный плач по ней, да теперь она на дне. В песок въедается, многострадальная. И леший меня дёрнул ещё зимой закинуть её в шлюпку. Вот она и попалась ему на глаза. Только и успел я проповить: «Михаил Фёдорович, не выбра...». Но тот хватанул её уже своей клешней и шваркнул за борт. Хорошо она летела со второй палубы, эффектно. Ильич глаголет в гневе: «Если бы можно было убивать безнаказанно... Я бы его первого пристукал...» Экие страсти-мордасти.

Относительно плана по заготовке грунта. Все иные, оказывается, выезжают на нашей «машине». Весь песок, добытый сверх нормы, разбрасывается на всех. Вот откуда у кэпа злость на уравниловку. Отсюда и ворчливая фразочка его: «Надо научиться хорошо работать. А то прыгают с одного места на другое».

К вечеру дождь собрался. И небо, и река сделались серыми, бесприютными. Только зелёный дымок распустившихся деревьев сохраняет надежду на солнечное, голубое, летнее...

Говорят, послезавтра буксируемся на Копанский



перекат. Сейчас идёт доработка дамбы. Пригнали плавучий кран (КПЛ-8). Он нашим же островным песком насыпает кучи. Закрепляет отвоёванное у реки пространство, дабы не промыла и не смыла вода. Затем дамбу покроют щебнем – это и будет венцом общих усилий.

## 27. Распушилась затонская верба

Утром, когда буксировались, с мотозавозни наблюдал за уткой. Вода слепила бликами, и чёрный чёткий силуэт уточки колыхался, словно в мультике, на волнах. Голова её то пропадала под водой, то появлялась. А потом куда-то и вовсе исчезла...

...Свежеет ветер. Пора в каюту. На правом берегу, где Затон, верба распушилась и стоит в воде...

*Распушилась верба ярко  
На затонском берегу.  
Стрежь ревёт. Дурная сила  
К берегу понтон прибила.  
Мы за вербою рванули  
С вахты, не спросясь, как пули...  
Через «свалку»<sup>1</sup> – напрямик,  
Обскакали весь тальник,  
Вербных веточек нарвали,  
А понтоны-то удрали.*

Так было днём. А вечером, когда пошли полюбоваться на первый намытый нами остров, она, бедолага, была уже по горло в свежем, вязком речном песке.

---

<sup>1</sup> «Свалка» – остров, намываемый земснарядом.

...Мы, как первопроходцы, спрыгнули с концевой площадки на остров, по которому ещё не ступала ни одна нога. Помяли в руках песок. Может, золотой?

...А рыбалка не удалась, хоть и червей нашли под прошлогодней листвой.

*Вода ещё мутная... Верб  
Застряла по горло в песке.  
Не вытащить вербу, наверно...  
Уже распушилась – наверх бы!  
Да разве прикажешь реке?!*

...Вечеру пошли с Вовкой-мотористом снимать мордушки с затонского берега. Перенёс он меня на спине на остров (был в болотных сапогах). И пошли мы по песочку чистейшему – мимо плавкрана, мимо вымоин, мимо якоря разборного, что впаялся лапой в песок, мимо распушившихся зеленоватых вербочек; и запах сырости и тины, низинный запах окутывал нас. Мокрый песок лип к подошвам, дышалось легко... Моросило едва приметно, накрапывало... Веяло забытостью...

*...Казался диким и заброшенным  
Намытый остров из песка...  
И пахло сеном свежескошенным,  
И тихо двигалась река.*

...Впадина у оконечности острова, как чаша. А в глубине её, в самой сердцевине, песок заплелся лепестками в невообразимый чудесный орнамент. Любопытство Вовки закончилось тем, что он, ступив во впадину,

провалился в тугую, засасывающую массу... Я быстро подал ему руку. Помог выбраться. С этими зыбучими впадинами шутки плохи!..

## 28. Про дни парового флота

Луна улыбочивая и круглая светит в иллюминатор. Вечерняя вода журчит умиротворённо...

...Натянутые тросы, когда выбирают лебёдку, производят тугой скрежещущий звук, так отчётливо слышимый в моей каюте. Ведь она крайняя, в самом «носу» судна, где находятся все эти становые и попилинарные лебёдки. Стемнело. Идём по понтонам с механиком к прорану – это стрежь, где создаётся мощный водоворот. Вода, ответвляясь от основного русла, делает головокруглительный заворот в то небольшое пространство, ещё до конца не засыпанное песком. Какие завихрения! Что за мощь! Как моет в этом месте берег! Сыплет и сыплет песок неукротимая река!

Тимофей Иванович вспоминает паровой флот, бакенщиков, что жили по всей Оби. Часто селились всей семьёй, держали скотину. Зажигали бакены – вначале на вёсельных, потом на моторных лодках. С наступлением утра тушили... «Плавал я тогда механиком на ведомственном судне «Бия», – рассказывает Т. И., – от Барнаула до Камня развозили мы бакенщикам зарплату, продукты, мануфактуру... С паровой машиной было проще. У неё всё на виду. Весь механизм перед тобой. А в дизеле всё закрыто. Паровая машина может 25-30 лет отработать, а дизель 5-7 лет – и выбрасывай или делай капитальный ремонт. Зато от дизеля КПД топлива около сорока процентов, а от паровой машины – только пятнадцать. Флот в начале

шестидесятих работал ещё на дровах. Всё судно было загромождено дровами, потом перешли на уголь... Стало проще...»

«Испытываете ли ностальгию по тому, паровому, флоту?» – спрашиваю я у механика.

«Конечно, – отзывается специалист-практик. – Тогда в «машинное» зайдёшь – тихо. Можно разговаривать. А сейчас разве поговоришь?!»

*На палубе мимолётом  
Механик рассказывал мне  
Про дни парового флота  
Ночью, на тихой волне...  
Как осенью плыть доводилось,  
Как висла свинцовая мгла...  
И вахта ночная длилась,  
А берег сводил с ума...  
Когда по одним очертаньям,  
По контурам берегов  
Он вспоминал названья  
Угрюмых ночных островов,  
Вспомнил про остров Паришвиый,  
Про бакены – вехи в ночи...  
Два бакена – красный и белый –  
Мерцали, как две свечи...*

...В ночь проследовал на тишайшей скорости (3 км/час) земснаряд трехсотсильный. Какой он маленький с брандвахтой-вагончиком. Буксир РТ, его тянущий, чуть движется впереди. Светятся иллюминаторы. И тянут его в Чарыш. И пилить ему никак не меньше

трёх суток. Огни на реке – всегда надежда, тепло, потому что свет...

Раньше за сбитый бакен судоводителей штрафовали. Бакенщиков за отсутствие бакена – тоже. Теперь этого нет. Бакены слажены на фотоэлементах, чувствительных к свету. Прогресс, одним словом, по части освещения.

...Выглянул в иллюминатор. Бежит река, и лунная дорожка тоже бежит, но не уходит, а повторяется, повторяется, повторяется, распадаясь на серебряную чешую...

## **29. Топляки, протоки, журавли...**

Капли дождя прыгают в каюту, стекают с иллюминатора. Плывём по мутной, затуманенной реке... И топляки плывут. То ветвистые лосиные рога, то индейская пирога...

*Дождь прошёл. И вспенилась река,  
Заиграла белыми барашками,  
Волны побежали вверх тормашками...  
А река топила топляки.  
Много было силы у реки.*

Недалеко от Затона – одинокий памятник у берега. Студентка утонула десять лет назад. Тело не нашли, и памятник поставили на берегу. Дальше – Жениховская протока. Невестинский остров. Старая легенда. Утонули невеста с женихом...

Дождь хлещет. В просвете – среди серых дождевых масс – тяжело и медленно летят три журавля. Как они на загляденье слаженно летят!..

Плывём в дожде. Волны бьют о борт, бурлят!  
Проходим мимо старого судового хода, мимо  
Шадринской протоки в обложном дожде. Играют  
Баха по радиоволне. Миг. Недолгое мгновенье. Звуки  
клавесина над вечереющей рекой. Миг пронзительного  
счастья и неведомый покой...

*Музыка Баха звучит.  
Жёлтая плещет волна...  
То, как ручей, зажурчит,  
То зазвенит, как струна.  
Музыка Баха, волна,  
Тень вечереющих ив,  
Ветви которых темны,  
Баховский шепчут мотив.*

### **30. Обь справа и слева**

...Плывём и плывём, несмотря ни на какие внутрен-  
ние катаклизмы. Красили весь день правый кубрик  
и красный уголок. Реку видим в основном в иллюмина-  
торе. Мощные обрывы, обрывы... Теперь они с правого  
борта. Из-за них телек не кажет. Проходим Вяткинские  
перекаты. Видел большую ясную радугу: она стояла  
обручем, врезаясь в воду. Так близко и так ясно радугу  
никогда не лицезрел. Сквозь морок облаков просве-  
чивало солнце, река желтела, а радуга светила семи-  
цветьем. Длилось это недолго, но здорово!

В глинистых обрывах белеют остатки снега – почер-  
невшего, безмолвно цепляющегося за жизнь...

*Белый снег сквозь тьму белеется  
По обрывам берегов,*

*Белый бакен чуть виднеется,  
Если глянешь далеко.  
И земля уже туманная,  
Растворённая вдали...  
Нереальная и странная –  
Отвыкаешь от земли.*

### **31. Из письма с Обских плёсов Наталье**

С днём рождения тебя, целую и крепко обнимаю через «сотни разъединяющих вёрст»! Завершаются третьи сутки нашего плаванья по обским волнам. В плавании мы хоть немного вздохнули, но работы предстоит ещё много. Настроение меняется, как погода на реке. То солнечно-умиротворенное; ветерок легко овеивает, то пасмурно-хмурое... Дождь, холодные порывы ветра... Проплываем разные места. Какие есть заповедные уголки на Оби – протоки, острова, излучины!

*Чиста вода протоки,  
Луга да родники...  
Излучины, истоки  
Кормилицы-реки...*

А то плывёшь в обрывах-великанах, величественных, кажется, специально вытесанных природой, чтобы создавать эту угрюмую печаль – никем и ничем не занятого пространства – воды, земли и неба. Особенно это действует в наступающих сумерках... А когда ночь – только бакены помигивают на реке, но чаще они шлют свои сигналы с берега – красный, зелёный, жёлтый...

Выглянешь из каюты в иллюминатор – непроглядная

ночь, волны бьются о борт, а где-то впереди очертания тёмного берега...

*...И в иллюминатор, как в окошко,  
Выгляну и всей щекой прильну,  
И увижу лунную дорожку,  
И с луной послушаю волну...*

Это уже стихи. Стихи, строчки, как справедливо предсказывал поэт Каширский, прут. Правда, как всегда, много сумбура. Хочется запечатлеть и то, и это. Плавание – это время для стихов. Когда будем стоять (а точнее, работать на воде), больше будет прозы. Оторвался я от вас и чувствую себя каким-то самостоятельным, неприкаемым существом, порой инородным всем здесь и всему. Но это, очевидно, путешествие расслабляет. Завтра соберусь в комок, завтра уже будем на месте, на Копанском перекате – это километрах в сорока от слияния Бии и Катуня...

## **32. На ровном перекате**

Подплываем к островку с единственным чахлым деревцем, где изыскатель один, как Робинзон, жжёт костёр, делает съёмку.

У островка из воды, как живое, выпрыгивает бревно, точнее – конец бревна с отверстием (как глаз), а в нём – остатки проволоки. «Это бревно на мёртвом якорю, – поясняют мне. – Раньше был привязан бакен. Теперь его нет».

Бревно «с глазом» напоминает морского котика, который то скроется, то вынырнет, как будто играет, бьёт головой о воду.



Косые лучи вечернего солнца спускаются с небесного купола до самой воды. Вечер. На правом берегу, где таинственная стена бора, тоже вечернее оживление. Две чайки кувыркаются в воздухе, кричат, а коршунок над ними кружит – видно, присмотрел, где яйца зарыты.

А что же было утром?! Утро было необыкновенное... Рассматривал в бинокль жизнь прибрежных островов: важно расхаживали по песку кулики-сороки, рыли красными смешными клювами ил. Один из куликов, то и дело отрываясь от трапезы, недоверчиво и пристально разглядывал махину нашего земснаряда...

В бинокль хорошо следить за полётом чаек, ворон. Этим обитателям побережья неплохо здесь живётся. А чего не жить?! Вода в верховьях чище, спокойнее. Неба вон сколько, даже облака какие-то вольные, с ленцой, величественные. Зелень кругом, простор. Один кулик улетел, другой пристроился у коряги – то ли солнцем его нагрело – прикемарил. Рассматривал я его в окуляры, притягивал взглядом – бесполезно. Застыл – с места не сдвинешь.

### **33. Вырубает просеку**

Съёмки, промеры, прорези... Это всё изыскательские штучки... Собрались мы – наивные души – на прогулку под вечер. Запрыгнули всем гамузом дружно в мотозавозню и покатали к изыскателям – на правый боровой берег. Подплыли к брандвахте Б-100. Стоит вагончик на воде. Девушки с ребятами мелькают, развешенное бельё сушится, катерок «Утка» у берега притулился... Кинулись мы в чашу заповедную. Нарвали смородиновых – с молодыми листочками – веточек... Птиц вечерние переливы послушали... Хорошо на майской

оживающей земле! Тонко пахнет зеленью. Тишина у них тут! Благодать! (У нас на машине постоянно движки гарахтят. Всё трясётся, вибрирует, запах соляры кругом!)

...Ржачки у брандвахты, разговорчики. Кэп торопит, над душой стоит. Грозится главному изыскателю водяным крещением. Дождались. Группа бородачей в штормовках, с теодолитом и ещё какими-то причиндалами выкатывается из вагончика. Плывём на левую сторону Коренного острова – створы ставить... Выпрыгиваем на берег. Таинственные причиндалы оказываются топорами. Кэп в своей чёрной фуфайке и зимней шапке, как предводитель разбойничьей шайки. Сам с топором. С оттяжкой гакнет по тополю или ветле. Только шум стоит да треск. Всё вповалку перемешалось. Одна тополина со страшным шумом рухнула прямо в протоку, ненадолго оглушив вечернюю речную отзывчивую тишь. «Щас рыба всплывёт...» – сожалеючи пошутил изыскатель Женя. Не всплыла.

...Остывая, прощально нежится в переливистой воде малиновое солнце. Вода отсвечивает голубовато-зелёным, золотистым цветом. Чайки раскричались на левой стороне протоки. Темнеет. Зажигаются огни брандвахты, и наш земснаряд засветился переливами огней на угасающей воде.

В густой синеватой темени перемещаемся в другую точку острова – для промеров. Сыроватый запах низинки окутывает нас, где-то в полевом озёрке неподалёку покрякивают утки, постригивают холодеющий воздух перепела. Ноги утопают в сухой пыльной траве. Трещат прибрежные кусты, как будто стадо лосей пробирается к водопою. Холодно. Но заворачивает

картина неоглядного речного простора с огнями проходящего буксира и земснаряда, неподвижно застывшего на воде...

### **34. Копанский пережат**

Вечер... Что творится вечером в рубке и вокруг?! Радиостанция разрывается, хрипит, кашляет, похмыкивает, переговаривается; внезапно обрывает разговор на полуслове. Всё – в этой недосказанности, обрывистости услышанного. Все поздравляют друг друга с Днём Победы. Кэп переговаривается с плывущими от Бийска буксирами. «Вам лучше держаться ближе к красному бакену...» – корректно рекомендует он приближающемуся к нашей флотилии буксировщику или пассажирской «Заре».

Как ведёт себя река на Копанском пережете? (Каждый год его копают. Он мелеет с невероятной быстротой.) Обь здесь напоминает необъятную чашу озера. Вода движется неторопко, не бьёт судорожно о борт, как это было на прежних стоянках. Нет, она говорливая! Пузырится, как шампанское, побулькивает. Всю дрянь и мусор из достославного города Бийска сносит к левому берегу. Там стремнина. В одном месте коса всё больше обнажается...

Как выглядит вечером наш табор?! Переливается огнями пережат. Умирают солнечные блики. Густое малиновое солнце, остывая, купается в реке перед тем, как закатиться за тёмную кромку бора...

Светятся огни брандвахты на правом берегу. Зелёными, жёлтыми, красными огнями отсвечивает земснаряд. Вечер. Сиянье реки... Ночью все пульта в радиорубке горят разноцветными огоньками. Машина

дрожит. Скоро конец вахте. Горячий душ, потом чай и разговор о чём-нибудь на ночь с Вовкой-мотористом. Так было вчера – при позднем свете лампы. Мгновенный провал в сон. И новое утро, за иллюминатором твоей каюты – и солнце, и река, и чайки, и скоро опять на вахту...

### **35. Первое хождение по верховьям Оби**

...Пропало кольцо у Феди-моториста. Все в недоумении. Пассажирское судно «Заря» высадило на безымянном острове третьего помощника. Белкин ездил за ним на мотозавозне. Юре-стажеру (третьему помощнику) 21 год. Учится в речном институте в Новосибирске. Уже он ощутил, что за штучка кэп при «тёплом» приёме... Перевалка... Зелёный бакен мигает с берега. Один белый горит, другой мигает. «Скоро Усть-Пристань», – просвещает нас Гребенщиков-старший<sup>1</sup>, моторист. Мы сгрудились в рубке и ведём разговоры с Юрой-стажёром. (Свежий человек на судне!) Ночь. Ночная свежесть. Огни бакенов, огни 1006-го земснаряда и огни путейского катера... Треугольник из огней в ночи... «Это толкач идёт», – объясняет Юра. Так он называет буксир. «А как определить земмашину?» – спрашиваю у третьего помощника. «По огоньку на рубке», – лаконично отвечает студент. А поутру – первое хождение к неведомому берегу. Остатки дома бакенщика.

*У дома бакенщика – бакены,  
Но говорят здесь «бакена».  
Солярою пропахли бакены,  
Грядут другие времена.*

---

<sup>1</sup> На судне два брата Гребенщиковых, и оба – мотористы.

Обугленные доски, закопчённые бутылки из-под вин. «Много пили...» – приходит к выводу Юра-стажёр. Переходим через «свалку», через песочный остров и оказываемся в чаще непроходимой... Сросшиеся вётлы, шиповник, смородина, заросли ежевики, всякий сор... И болото, болото, схороненное в этих зарослях, заросшее жёлтыми лилиями... Эти лилии стелются и по зелёному лугу, прилегающему к болотной заводи.

Пока шли по чаще, поотрывали все крючки с удилиц. Юрка-то, хитрец, был в сапогах с длиннющими голенищами и вовремя форсировал болотину, а мы с Вовкой-мотористом остались в чащобе...

Пока мы выдираемся из зарослей, Юра совершает променад по лугу. Лягушки заливаются на все лады. Омузыкаленное болото всё-таки смилостивилось – заузилось. Мы проскакиваем. Пытаемся забросить удочки. Без толку. И рыбаки мы хреновые. И крючки поотрывали. И тогда бросаем мы это занятие. Решаем пройтись дорожкой полевой. А куда она может нас привести? Сухие камыши раскинулись слева от дороги. Они-то и манят нас. Кукушка кукует с сухого деревца над болотом. Болотный лунь кружится над своим гнездом. Беспokoится. Кукушка на нас не реагирует. Кукует себе... Тогда мы забредаем в болото. Юрка идёт впереди. Мы с Вовкой сзади плетёмся, в отстающих. С кочки на кочку перемещаемся. Камыш забирает нас в свою гущину. Над головой – камыши, и сам ты в камышах затерян, но не растерян...

Поворачиваем назад, к дороге. Болотной водицы хлебнули наши сапоги-коротышки. Ну, это было уже слишком! Вовка матюгает наше путешествие.

А над нами кричат и кружат чибисы. Прямо-таки снуют в воздухе. И тут я замечаю среди кочек пёстренький комочек... «Мужики! — кричу. — Утёнок, а может, чибисёнок?!» Юрка в «болотниках» идёт на разведку. «Их тут три... Замёрзли, бедняги...» — радирует стажёр. Бежим смотреть. Махонькие, пушистые, как цыплята, только с тёмненькими полосками. Разбежались по кочкам. Пищат. А чибисиха в воздухе «на нет» исходит. «Пошли скорей отсюда, а то у неё сердце разорвётся», — говорит Юрка. Ну и пошли опять по дорожке. Хлюпали наши промокшие сапожки. Вовка посылал проклятия ядовитой болотной воде.

Ну что за путешествие без костра, без привала?! Был и привал, и костёр. Чем-то нас притянуло болотное озерко с жёлтыми кувшинками, с ивами плакучими. А вдруг здесь рыба? «Закинем удочку на пять минут», — решает рискнуть Вовка.

Благодать. Тишина. Облака вдали розовеют у горизонта, и поля, и дальние горы...

Разжигаем костёр. Что может быть лучше костра, его живого тепла, когда промок?! Что может быть лучше проезжего путника на мотоцикле? Мужичонка в фуфайчонке. Шустрый, разговорчивый... «У бакенщиков обитался три навигации. Рыбу ловили. Верши на стерлядку ставили...» Разговор у мужичка неторопливый. Лицо красноватое, загорелое. На земле живёт, на земле! Спросили его: «Большая ли деревня Ануй?» «Да была большая... Да разбежалось много народу...» А напослед добавил по рыбацкой теме, что озеро есть километра за четыре от болота. Там карась амурский... Возвращались, торопились. Мужикам надо было

на вахту, а мне-то хоть всю ночь сиди у костерка да слушай тишину да лягушек, да птиц...

*Солнце ало, ало, ало  
Остывало над рекой.  
Нам дороги было мало,  
Не хотелось на покой,  
Не хотелось расставаться  
С остывающим костром...  
С вечеряющей согрой,  
С зеленеющим ковром.*

### **36. Пустые хлопоты у мёрзлого дна**

Утро. До вахты три с лишним часа. Вчера ползли якоря, не ложились на грунт... «И кто на нас ворожит?! Как на салазках катаемся... – ворчал кэп, подводя невесёлые итоги. – С осени всё обмелело, к тому времени промёрзла земля, и сейчас там, на дне, песок как в кладовой...»

«Мерзлота...» – соглашались матёрые речники. Перекладывали становой якорь, да и другие. Без толку.

Командир переговаривается по радию с 1006-м земснарядом. Тот стоит пониже нас, на другом перекате. «У нас тоже якоря ползут. За ночь четыре раза перекладывали...» – отвечают с братского «тысячника». (Тысячесильных «машин» в Барнаульском техучастке всего две – 1003-я, на которой плавал автор, и 1006-я. Разнятся они только окраской труб, бортов и палуб. А строенья одного.)

«Рано выгнали на эти перекаты. Раньше здесь числа с пятнадцатого начинали», – вклинивается механик...

Да, нездорово, когда вот так не клеится. Сколько

возни было с установкой «машины», с завозками якорей, с разматыванием и наматыванием тросов... Беготня, спешка, неразбериха!.. Под вечер подчалил путейский катер. В рубку багермейстера (так она правильно называется) влетел молодежавый, подвижный (сильно похожий на актёра Любшина) человек в шляпе, свитере и трико. Со всеми поздоровался «по ручке». Представился помощником путейского мастера. Кэп тут с ним разговорился. Выцыганил пол-литровую баночку краски для створов. Гость свою нужду изложил: «В лодке пробоина, заварить бы надо». На том и сговорились. Уже уходя из рубки, «Любшин» в шляпе спросил: «Может, вам чего привезти из Акугихи?» Кэп перевёл стрелку: «А это к нашему снабженцу надо обращаться. Покажите (разумея нас с Ильичом) каюту Александры Николаевны...»

...Вышел я на верхнюю палубу на воду вечернюю полюбоваться, а «путеец» в шляпе уже на свою «путейку» перепрыгивает. Мужик в мохеровой кепке с толстым козырьком, низко надвинутым на глаза, поднявшись с соснового чурбака, принимает конец «чалки», который я ему подаю... Почерневший, как паромщик, он садится, как дед на завалинку, на заваленную всякой всячиной палубу (а точнее – на тот же сосновый чурбак) и закуривает «козью ножку». У него и вид просмолённого паромщика или бакенщика из тех времён, о которых мне рассказывал механик.

И затарахтела, поплыла «путейка»...



### 37. Проблемы экологии

...Утро почти летнее. Солнечное. Дальние берега туманны, залиты солнечным переливающимся сверканием. Сверканье неба и воды. По свеженамытому острову прыгают вороны. Я хорошо разглядел их в бинокль. Вначале одна кумушка ступила на остров, попрыгала, обошла его весь, оглядела по-хозяйски... Другая прилетела. То же проделала. Потом вороны посовещались о чём-то на своём наречии и рванули в заречные дали...

...Путейский катер пришёл под вечер, как и обещал. Привезли четыре мешка картошки из деревни. Пока кэп заваривал путейцам прохудившуюся лодку, мы в рубке принимали чернявого моториста в мохнатой кепке с толстым козырьком. Поговорить ему захотелось. А мы, признаться, клевали носами. Вахта длилась, а дела не было. Вот и осоловели. Чернявого занимают проблемы экологии. Вырубка кедра. Катунская ГЭС. А реке он благодарен. Она ему брус на баню вынесла. Говорит, что и на дом можно набрать.

Вчера наши ездили в деревню Фоминское. По пути видели лося, переплывающего реку. На левом берегу вчера весь день и ещё ночью наблюдали пал. Пылало, дымило... Всё повыжгло там. Обидно.

Сильнейшая струя воды с песком вырывается из нашего железного чудища, намывает остров. А в тридцати метрах горит берег с гнёздами птиц, да и деревья, конечно, горят... А помочь ничем нельзя... Никто не ринется тушить. Нам надо реку ворошить. Нам нужен, в частности, песок, а там горит огнём лесок. Горит трава, гнездовья птиц. Зверёе горит в огне.

Как стая бешеных лисиц – огонь пылает, мечется.  
И не оставит пня на пне, пока не перебесится...

Вечерами с правого берега доносится запах клейкой,  
нежной зелени листочков...

### **38. Из письма Наталье с Обских плёсов**

*Что выплыв на лодке,  
Повсюду достану шестом...*

Николай Рубцов

Дни летят неуследимо. Мы потеряли им счёт. Какая нам разница, понедельник сейчас или суббота. У нас выходных нет. Заведённая «машина» работает на полный ход. Трясётся и тарахтит, вымывая песок и гальку. Когда эти вышеназванные атрибуты речного дна движутся по трубе, кажется, что кто-то ссыпает песок и гальку под двери твоей каюты. Вот сейчас, когда пишу тебе, временная тишина... Что-то там, наверху, у них не заладилось. Сейчас мы занимаемся не созданием нового острова, а, наоборот, сносим старый, мешающий проходу судов. Сносим с лица реки...

Большие массы песка откалываются, исчезают бесследно в воде и, пройдя полукилометровый путь по трубам, с адской силой выбрасываются на середине реки, где таким образом рождается другой остров. Вчера с вечера шёл обложной дождь. Мы плавали на катере под этим дождём на близлежащие острова – снимать створы<sup>1</sup>. И не смогли нигде причалить к берегу. Везде мели. Вот в этом и состоит работа. Устранять мели...

---

<sup>1</sup> Створы – ориентиры, по которым земснаряд движется по заданному участку, углубляя дно.

### 39. Коварный перекат

Залетает в трюм Гребенщиков-старший, моторист: «Саня, лоси!..» И я, как лось из чащи, ринулся из трюма на верхнюю палубу. Там Ильич наготове – с биноклем. Я – хватать бинокль. Судорожно вожу им. Наконец в кадре два сохатых. По грудь в воде стоят. Недалеко от берега, в реке... Через мгновение вместо двух лосей – две лосиные головы в воде. Они поплавали немного и вышли на берег. Два коричневатых туловища возникли и пропали за яркой прибрежной зеленью...

Порвался трос на концевой площадке. Он и должен был со дня на день порваться. Кэп весь день разговорчивый. Ломаем остров. Точней, сметаем с лица реки. Приходится подплывать «машиной» к берегу, перекрывая понтонами судовой ход. Где-то в получасе езды буксир-толкач радирует. Кэп заранее настраивает его на задержку: «У нас тут рама опущена. Неполладки...» (Накаркал на свою голову!) Лопнул трос. Оторвались понтоны. Ильич давай махать кепчонкой да орать кэпу: «Стой, стой!» Да кэп далеко и не смотрит в нашу сторону, а мы с приличной скоростью удаляемся от «свалки». Едем, и понтоны, как скрюченная гусеница, распрямляются. А я в это время по ним бегу, бухаю сапогами (понтон в длину полкилометра!). Ильич на концевой площадке толчётся.

Добегаю до рубки, сообщаю о порыве. Кэп, на удивление, спокойно реагирует: «Сами оторвали, сами и скрепляйте...» (Позже он назовёт нас рвачами!)

...Ильич заводит мотозавозню. Плывём за тросом и садимся на мель... Не коклюш, так золотуха! Меряем наметкой-футштоком глубину, а там полметра.

Коварный перекат! Каким-то чудом всё же выгрэбаем с мели. Ох и побуксовал Ильич! Мотозавозне и песку речному тошно было. Всё взбаламутили. Вот так-то.

#### **40. Кастрюк. Речной ас**

Первое событие сразу с утра. Белкин выловил на «свалке» кастрюка. Нёс его, бедолагу, через все понтоны. Взошёл на вторую палубу. Я ему навстречу. Рыба ещё живая. Ещё дышит. Три уса вздыбились вверх, рот шевелится. Печальное зрелище. Но говорят, завтра уха на обед. Поработали на славу вместе с кэпом. Тягали два троса по намытому острову – почти за триста метров. Вчетвером. Упрели изрядно. Реплика кэпа: «Вот, уважаемый Тимофей Иванович, хоть бы раз помог трос тащить...» Кэп сегодня в настрое. Энергичен и бодр.

...Днём в рубке... Сверху (с верховьев Оби) спускается «толкач» знаменитого Плетнёва. Ведёт четыре баржи. Тимофей Иванович подкидывает речному асу «леща»: «Такое впечатление, что вы сейчас подомнёте красный бакен...» Несколько секунд молчания в эфире... «Да я от него метрах в пятнадцати на ширину баржи...» – разыгрывает негодование Плетнёв. Опять молчание. Величественно проплывают четыре грузёные баржи, а сзади не менее величественный РТ. Красный бакен не задет.

Плетнёв: «Ну, теперь нет такого впечатления?!»

Т. И. Соломко: «Извините, впечатление было ошибочным...»

## 41. Троица Благодатная

Удивительное состояние чистоты, свежести! Александра Николаевна (первый помощник) предложила свои услуги в качестве цирюльника. Здорово и быстро состригла мои патлы. «Чувствуется рука мастера», – подкинул я ей «леща».

...А жарища сегодня, на Троицу, ужасная. После подстрижки принял прохладный душ. Спустился в каюту, заварил чаёк, выглянул в иллюминатор – там небо синее и речка бежит. В каюте – прохлада, и ветерок залетает, а жарки из банки тянутся к свету.

*Синь неба и реки и зелень берегов,  
И заповедный пламень огоньков,  
Что к свету тянутся  
На свечках стебельков...*

...Вахта позади. Состояние покоя и тишины... Кэп чудит. Вышел на палубу в олимпийке, в трико и в здоровых пимах – это в такое-то пекло?! Что-то запредельное, не поддающееся пониманию... Ильич с прорывающей обидой говорит: «Это его за грехи наказывают (в святую Троицу!). Он вчера опять на меня срывался и с Герасимовной не разговаривает...»

Как по-особому звучит музыка на воде! Вот как сейчас свиридовская «Метель» с её волшебным движением звуков...

Бывают же состояния заповедные. Сегодня и вправду день какой-то святой. И якорь в одиночку спокойно поднял, и завёз без криков и надрывов. Даже Белкин похвалил. Это и есть день прорыва, просвета в тучах,

когда всё удаётся, словно по волшебству. Глубже дышится, резче чувствуется...

## **42. В верховьях Оби**

Полевая дорога, убегающая вдаль. В глазах рябит от зелени, пролетающих птиц, простора. Перекликается, трещит, похрипывает, скрипит из прибрежных зарослей. То лунь кружит, то сорока, то гуси проносятся. Кукушка кукует.

...Углище от костра на берегу озера. Присел на привале. Наломал сухих веток. Нашёл четыре картошины, оставленные рыбаками, кусочки сала. Освежился по пояс в темноватой, настоящей на жёлтых кувшинках воде. Свежел воздух. Вечерело. Покрякивали утки в камышах. Скрипели выпи. Захлёбывались лягушки. И вдруг – тишина, стойкая, умиротворённая. Запахло дымом, зеленью. Водяная вечерняя сырость смешивалась с лёгким синеватым дымком. Тени ив отдыхали на тихой вечерней воде. До чего вкусна была картошка с поджаристой корочкой!

Перемещались выпи. Скрипели то здесь, то там. Потом хлюпающий, утробный звук раздался в болотной гуще, и замерло, и опять заскрипело. А с дальнего луга принесло курлыкающие, протяжные звуки. Журавли таятся.

Высокая разлапистая ива по пояс утонула в воде озера. Сухие ветки. На одной из сухомытин – скрюченная, печально-отрешенная птица. Не забоялась, не улетела. Я постоял у ивы, порассматривал её. Повернул назад на тропинку. И опять расслышал этот странный хлюпающий звук, как вздох водяного. Стало немного

жутко среди вечеряющих заболоченных пространств,  
заросших камышами...

Всего жалче было уходить от затухающего, почти  
умершего костра с тонкой синеватой струйкой дыма.

### ***У озера***

*Сквозь заросли глухие виражами  
Я к озеру доплёлся чуть живой,  
Плыл медленный туман над камышами,  
Пахнуло горьким дымом и травой.  
Изломанной берёзы лик молящий  
Тонул в воде, шептал, спасти молил,  
Я вслушивался в голос уходящий,  
В глухую зыбь заросшую курил.  
Мне тонкие берёзы шелестели,  
Вонзённые, как струны, в косогор,  
И в вышине вершины тихо пели,  
И тишина врывалась в стройный хор.  
А ветер налетал тугим порывом,  
И жаловалась птица на суку,  
Даль озера сверкающим разливом  
Сквозь камыши светила чудаку...*

## Дом в Соборном переулке (Старогородской этюд)

Последние дни старого дома в Соборном переулке. Доскрипывает он свой переваливший за столетие век. Деревянный двухэтажный дом в бывшей купеческой слободе старого Барнаула. Как-то бабушка вспоминала, что сын купца из Нарыма наведывался перед войной. Как давно это было!

...В мартовском повечерье поскрипывает под ногами лёд. Запылённые окошки тускло светятся в густой темени.

За пыльным стеклом – уютный свет керосиновой лампы, тени в глубине и серьёзная голова Сашки Гурова, склонившегося над читаным-перечитанным журналом. Гроза восьмой школы, давний бабкин сосед, нынче в унынии. Свет у Гурика (так его в старогородском детстве звали) отрезали за долги. Недавно вышел из ЛТП. День бы пережить. Печка не греет. Погреб, гляди, зальёт...

В больших «верхних» окнах света ещё не зажигали. Вдруг высветило в одном окне настольною лампой. Скучный свет.

...Прошёл во двор. Дивный колодец запахов, отсветов, хрустов, позвякиваний... Тускнело одно окно – бабушкино. Остальные зажигать некому – съехали. Клён-одногодок с высоким колышком и пришипленной к нему скворешней встретил.





«Посиди поговори... Я ведь так и говорить разучусь», – жалится бабка. Сидим, вспоминаем. Перебираем родню ушедшую. И тот домишко над яром, на «Горе», по улице Тяптина. То ли спихнули его с осыпающегося обрыва, то ли сам скатился в обрыв? Кочегарку на Ленинском, где бабушка кочегарила. А мы к ней в гости мыться ходили в детстве.

«Механик говорит: “Как ты, Шура, на смене, так я сплю спокойно”, – вспоминает бабушка. – А сменщики мои напьются и спят. Приду – лежат. А то жильцы стакан или бутылку в канализацию заткнул – по колено в воде ходим. И по двое суток приходилось кочегарить...»

...Как я отчётливо помню тот свежий запах воды, угля, шлака и ещё чего-то. Не могу вспомнить – чего? Такой же острый, как запах густой и пахучей тьмы в колодце двора... Или так пахли звёзды – вкуче с месяцем?! Не вернуть...

«Давай, Шура, “прощай” друг другу скажем...» (Так бабушка напоследок с соседкой тётей Шурой Качютиной прощалась. Лет сорок бок о бок прожили. (Царствие им небесное теперь-то!))

Первого апреля их выселят на пересыльный. Разрушат последние обломки нашего детства.

... Скрипит, рассыхается старый дом. Лестницу перекосило. Но ещё можно взбежать на верхний этаж – к заповедным чердачным недрам. Постоять, послушать напоследок стойкую колыбельную тишину старых стен. Побродить по коридорам...

Здесь время свернулось калачиком и мурлычет, как кот на лежанке, про старые добрые времена. А я прощаюсь с домом, с его высокими лепными потолками, просторными окнами и круглыми окошечками, печами,

певучими звуками. Глажу напоследок золотистые, с янтарным подсветом кедровые доски... Они сохранили тепло и свет ушедшего...

По шаткой перекошенной лестнице быстро сбегая вниз – во тьму мартовской ночи...

*Улица Анатолия, 90. Март 1989 г.*

## Путешествие к Чехову (Малороссийский этюд)

Окраина города Сумы. Лука-Барановка. Весна. Мы сошли с автобуса. Затерялись среди одноэтажных каменных построек. Узкая улица тесно прижалась к высокой горе. Идём по ней.

Спрашиваем у прохожих про музей Чехова. Они показывают на берёзы вдали...

Одноэтажный с белыми колоннами белый дом с надписью «С 1888 по 1889 г. здесь жил и работал великий русский писатель А. П. Чехов». Подходим к высокому крыльцу. Я дёргаю дверь. Закрыто... От «парадного» – вдоль дома – проходим на задворки. Там точно такое же крыльцо. Дом с двумя выходами. От заднего крыльца начинается берёзовая роща. Деревья взбегают на крутую гору. Грачиные гнёзда чернеют на берёзах. Россыпь грачей – чёрная, орущая, словно с саврасовского полотна старой России.

...Задние двери тоже заперты. Пробуем стучать. Нет ответа. Бредём по лужам. Вдруг в окошке зашевелилась жёлтая шторка. Не померещилось ли? Нет, шевелится. Резко взбегаю на парадное, стучу... Где-то в глубине дома рассерженный охранный старушечий голос: «Чего нужно?! Нет никого... На той неделе приходите...»

Я – голосу: «Да мы военные, из Сибири приехали...

Через неделю уезжаем...» Голос неумолим: «Ну и што, што военные...» И затихает...

Несолоно хлебавши глядим на развалины усадьбы помещицы Линтваревой, у которой гостил Чехов. Усадьба огорожена забором. Отыскав лазейку, ступаем во владения помещицы. Мимо старых яблоневых и вишнёвых деревьев проходим ко флигелю. От него к дому. Везде следы разрушения. Оскалившийся красный кирпич, обломки...

Поднимаемся по лестнице в одно из крыльев усадьбы. Топчемся на битом кирпиче. Взбегаем по винтовой лестнице на самый верх, оглядываем живописную округу... Не здесь ли задумал Чехов «Вишнёвый сад»? Не эти ли места навеяли?

Выходим во двор. Дух забвения и старости царствует в покинутой усадьбе. А когда-то кипела жизнь!

Спутник мой Серёга где-то в развалинах затерялся. Не уследишь за ним. Вон за забором мелькнула серая шинель...

Ну и я – на выход. Ещё раз прошёл мимо «чеховских» окон. Белое старушечье лицо в очках светлым пятном высветилось в оконном проёме...

Спутнику моему изрядно надоели наши топтания вокруг да около. Упорол метров за триста. А я всё медлил, фотографируя взглядом усадьбу, рощу, белый домик... И тут... Что-то дошло до кого-то. Оттаяло. Прошуршал ключ в замке. Открылась дверь. На крыльце возникла старуха. (Как выяснилось потом, уборщица.)

«Ладно, заходите! Только ноги хорошо вытирайте...» – промолвила она великодушно.

То ли благонадёжный вид наш её убаюкал, то ли целеустремлённость, с какой мы прорывались на помещичьи

развалины? (Она из окна за нами, конечно, наблюдала!) Бог знает. В общем – лёд стонулся.

А Серый (по-землячки его иногда так кликали) уже целый квартал отметелил. Машу ему рукой, кричу, а сам полощу сапоги в луже. Серый с неохотой и ленцой разворачивается. Нехотя косолапит к дому. Забавный он чалдон!

...Протираем ноги о тряпку на крыльце. Светловолосая бабулька выдаёт нам два билета по 10 копеек.

Что ж сохранила тихая пристань сия? Чего мы здесь спустя столетие, на исходе, перед развалом и перед распадом огромной страны высмотрим?!

Пыль да тишину. Странную тишину застывших, переставших служить хозяину вещей, старые фотографии...

Скрипнувшая половица напомнит, что время ушло, клавиши остыли, забыв прикосновенье человеческих пальцев...

...Как много фотографий, автографов! Усадьба Линтваревой, окрестности Сум, соборы. В одной из комнат – письменный стол, плетённый стул, подсвечники.

Самая впечатляющая – гостиная. В ней – красивый светильник, старинное фортепиано, футляр от скрипки, трюмо. Посредине комнаты – сервированный стол, на нём – самовар, сервизные чашки. От стола – вглубь – выход в парк. Вот тут сидел Чехов, пил чай, дверь была открыта в зеленеющий парк, где кричали грачи, как сейчас...

Мы вышли на воздух – в весну, в чистое небо, в грачиный ор. Решили подняться на гору по парку

и посмотреть на реку Псёл, где Антон Павлович с братом Николаем рыбачили, отдыхали...

Шли меж деревьев – всё выше, выше – и оказались над городом. С горы открылся великолепный вид! (Представляю, как здесь красиво было летом – лет так девяносто назад!) Закатной охрой накрыло краснокирпичные домики с фруктовыми садами, и голубиные купола церкви Иоанна Предтечи засветились...

Дом Чехова уже смутно белел сквозь деревья у подножия горы, а чуть подальше отливала охрой усадьба помещицы Линтваревой... Серёга пошёл бродить по гребню горы. А я присел, закурил, снял шапку. Так хорошо и покойно стало на душе! Небо было близкое, тёплое, весеннее; рассвеченные солнцем и синью купола горели, чистый воздух высоты пьянил. Внизу, под горой, жила округа, шевелились дворы, люди вскапывали огороды... А я прикорнул на островке вечности – под тихими облаками, на краткий миг позабыв о неумолимом времени... Потом очнулся и... пошёл искать Серёгу...

...Постояли, поглядели на неширокий мутный Псёл (что наша Барнаулка!), спустились с горы через грачную рощу, на прощание ещё раз нарушив её заповедный покой.

...Мы шлёпали по лужам, радовались весеннему тёплому солнышку и никуда не спешили.

*Украина, г. Сумы*

*24 февраля 1988 г.*

## Я ехал в пустынном вагоне (Этюд о поэте)

*Памяти Бориса Капустина*

Он был немножко (или множко?) не от мира сего. Но где проходила граница между мирами? «Если мир даст трещину, она пройдёт через сердце поэта» (Генрих Гейне). «Трещина» в данном случае – разлад между тем, что «внутри», и тем, что «снаружи». Между младенческим ладом души и грубой, «локтевой» материей мира, неблагозвучием...

«Где цветы, где подсолнухи, богородская травка... Есть шалаш из заброшенных тополиных ветвей. Там живёт моя старая слепая утрата... В окруженьи подсолнухов, щенков и детей...» (Б. Капустин). Это город Ростов. Послевоенное детство Бориса. Такая даль во времени, но светит! И душа-проныра греется у памятных костров...

Деревянное (давно сгоревшее) здание редакции старой «Молодежки». Очередное заседание литературного объединения. Читаем по кругу стихи, как всегда. (Под «Портвейн розовый» воспринимается острее!) Что-то рассказывает заезжий пародист из Ленинграда со сдвоенной фамилией Матюшкин-Герке. Под занавес прорезается изрядно порозовевший Капустин. Больше всего западает в душу то, что читает он.

Под светлым впечатлением сбегает по деревянной лестнице, переговариваемся, расстаёмся... А голос со



строчками стихов ещё вибрирует в тебе, дразнит, завораживая... Вот она, поэзия!

Нам с Ирой Кириловой (тоже безвременно ушедшей в мир иной!) ровно по пятнадцать лет. Капустин – из старших. Разница в семь лет, в те годы – дистанция огромного размера. На дворе – шестидесятые. Мы вместе бегаем на лит. (вин.) объединение, прислушиваемся к мудрому слову, приглядываемся к «маститым» стихотворцам с публикациями – Стасу Яненко, Борису Капустину, Николаю Байбузе...

Благодатное прорывное время для поэзии! Но где? Откуда? Почему так знакомо?

Где-то я уже слышал голос этот. И глаза эти цвета отстоянной голубизны... Всплывает двадцать седьмая школа. Родные пенаты. Тихие осенние вечера. То концерт классической музыки, то поэтическая композиция, а то и спектакль, устроенный старшеклассниками...

Осталось от тех времён: Капустин читает Вознесенского со школьной сцены: «Конечно, вы свежесвыбриты, и вкус вам не изменял, но были ли вы убиты За Родину наповал?!»

Промелькнувший кадр киноленты... Коридоры. Классы. Библиотека. Где ещё могли бы мы столкнуться – чуть ли не лбами? На широкой школьной лестнице или на окультуренном плодовыми деревьями дворе? Да где угодно...

Через годы – уже другие – в другом круговороте, перебивая взхлёб друг друга, мы вспомним о ней, о двадцать седьмой... В тот неожиданно светлый и солнечный майский вечер с тёплым вечерним дождём...

...Мокли у куста сирени. И эти острые запахи весны,

и вспомянутая школа, и хороший портвейн того вечера... Это уже конец семидесятых...

Но школу ещё не снесли. Ещё ни одной книжки Бориса Капустина не издано. Стихи бродят на воле. Полёживают, отпечатанные на чистовик, в старых канцелярских папках. Но их уже цитируют на память прислушливые ценители поэзии, да и стихотворцы.

Все годы, от конца семидесятых и до окончания восьмидесятых, нас связывает неизбывное – слово и музыка. Сколько стихов и песен отзвучало в стенах капустинской комнаты на 80-й Гвардейской! Сколько раздарено по пути близлежащей округе – «переулкам Полярным – самым непопулярным» (Б. Капустин). В трёх его небольших сборниках (как занырнешь) оживает промелькнувшее, бормочет на все голоса...

Вижу, как безмятежно и легко выкатывается он из подъезда на 80-й Гвардейской. В своей неизменной болоньевой куртке, с сигаретой. Пухлая книжка (период светлый, книгочейный) зажата под мышкой (за ночь проглотил). Утро гулкое, сентябрьское. Золотые шары полыхают в палисадниках. Копотим переулками, переговариваемся, не строя никаких планов (подобный строй бытия ныне трудно представить!), перебрасываемся свежееиспечёнными строчками... Колобродим.

Уходил в грузчики, в народ... «Записывай каждый день...» – наставлял Б.В. Не записывал. На реке само выпевалось. После вахты – в каюту. Чай. Тетрадь. Разговоры с отдыхающими мотористами. Перед провалом в сон слышно, как бьют по трубе, переговариваясь, камешки со дна реки... Под эту музыку засыпал и просыпался в рань речного утра. Из трюма – на чистую палубу, в крики чаек над водой...

«Пойдёшь в плавание... Буду тебе письма писать...» – как всегда выдавал мечтаемое за действительное Б. В. «Представляешь, ты там далеко, а я здесь...» Я вообще не помню, чтоб он кому-либо что-либо писал, а потом заклеивал в конверт. Он и стихи-то крайне редко записывал «на людях». Всё таинство оставалось за кадром...

Начало восьмидесятых... Мы ещё созваниваемся. Вырываемся на хорошие фильмы. Так в июльскую жару мы попали на «Сталкера» в густо набитый зал «России»...

После напряжённого трехчасового просмотра – считывания (глазами и душой) – замедленного, волшебного кинодействия, как после концерта классической музыки, – шок, перегрузка и одновременно очищение. И все же молчим. Не тревожим душный июльский воздух словесами. В молчании едем на Булыгино, на Барнаулку – к песочку, к тишине...

Ходим по мокрому песку босыми ногами. Успокаиваемся. Плакучая ива разбросила ветки. Подобралась к воде. Меж ив густых пьем дешёвенький, охлаждённый в Барнаулке сухой молдавский «Жок»...

«Утром на небо смотри. Вечером – на воду», – говорили древние китайцы. Посмотрели, побродили у намоленных мест и ушли...

Барнаулка. Детство. Булыгино. Перешедший в мир иной друг «Сталкер». Двадцать седьмая. Стас Яненко, годок и друг Борьки Капустина, живёт неподалёку – за Барнаулкой, на Загородной. Теперь они вместе там, «на Черницком, как дома»... (Б. К.). Царствие им небесное! Высокие струнные тополя на месте старого ипподрома светят листвой... «Я пешеход, но я люблю коней» (С. Яненко).

...К деревянному дому на Загородной в те годы тропа народная не зарастала. И когда, не допив и не допев, летели мы с Б. В. через полынные запахи окраин до Стаса – разжиться десяткой, не всегда промахивались.

Иной раз, не застав, просто проветривались – долгим пешим ходом, разговорами. Эти бродяжки поиски были роскошью. («Роскошный» – один из любимых эпитетов Капустина.)

...А ещё – на Советской, 6, где бывшая коммуналка и комната «чулком», мы слушаем четвёртую симфонию Брамса. Пластинка ещё не заиграна. Солнечное предвечерье – за распахнутым окном. На дворе – лето. Благодать. Не стучат соседи за тонкой стенкой. Вообще никого нет в «миру». Только эти звуки, откуда-то возникающие, слетающие ли на распах души. Покровский собор. Май. Вечерня. Мы с Капустиным по дороге на Загородную завернули в храм. Думали, ненадолго... Всю службу простояли, как истинно верующие.

Благостное сошло на душу. Мы вышли другие к другой весне, к другому солнцу... Остро пахли околицерковные сирени. Легко ступали мы по родным пескам – после дождичка... Окошки, умытые майским дождём, глядели весело, сверкая геранями на подоконниках. Зелень слепила. Чисто вымытый Божий мир радовал глаз, бередил забытыми запахами весны...

До чего был выдумщик «этот Капустин!» Так называла его в минуты праведного гнева родная тётка – Ольга Францевна (Царствие ей небесное!). «Вот... этот... Капустин!» – это у неё приговорка была такая (все для неё были – «эти»).

Порой трудно было отличить – где выдумка, где ложь. Всё шло у него в едином неразрывном потоке,

как у Пруста, накатом. Вчера прочитанная книга, давний какой-нибудь разговор, зацепившаяся за память встреча... Всё волшебно выплёскивалось в расцветающее весеннее (мне сейчас почему-то мерещится, апрельское) утро предстоящего дня...

Удивительная способность переживания за чужое, но уже ставшее твоим, – со-переживание. Со-творчество. А дальше (по Пастернаку) идёт чудотворство – отчёт и выкрик души за содеянное. И нет никаких судей! А только судьба (суть – Бах!) Токката и fuga ре-минор. (Сашка, почему у тебя нет «Грегорианских месс»? «Пассакалья...» – как звучит-то на русском!.. Сань, достань «Страсти по Матфею!»)

Хороши были его подсказки-припевки! Он музыкально растягивал фразу (в душе-то оно пело и выпевалось!) по-своему как-то, на петербургский манер, что ли?! Я бы это озвучивание назвал «музословотерапией». Каждую жизненную реальность, всякую вроде бы мелочь он дивно преобразовывал в крупички поэзии... К примеру, как жарить шампиньоны по графу Игнатьеву (мемуары «Пятьдесят лет в строю»). Как смачно он разливался об этих старогородских грибах «интерских» и «пролетарских» закутков! В шестидесятые годы мы, школьники, собирали и жарили их куда с добром! Бензинных выхлопов и прочего не боялись. Ибо машины в наших кварталах тогда – такая редкость. Разве что старьёвщик на лошадке протрюхает – со свистульками и разноцветными надувными шарами.

Легко бежалось ему по Певческому мостику там, в юности, в музее под открытым небом – в северной столице. В «шинельке», «удрав в самоволку опять», летел он через снегопад «на Волково кладбище, к Блоку...»

*Я ехал в пустынном вагоне,  
Повязанный близкой «губой»,  
и как он меня проворонил –  
патрульный наряд ретивой!*

Строфа из стихотворения «Февраль-март». Я его запомнил легко – с листа, на одном дыхании, как будто сам написал. Читал наизусть по просьбе автора друзьям, знакомым и всем пришлым в капустинскую странно-приимную «келью» на 80-й Гвардейской. И кого туда только не заносило «на ветерке хмельном и встречном» (автоцитата), какие разговоры затевались! Сие повторить невозможно. Ибо «иных уж нет, а те далече». И поэт, уходя из земного бытия на ветер вечности, уносит главную тайну с собой – в надмирный свет...

Недолгое пребывание его на земле, на страже пленительного Слова (караул устал!) – не есть ли путешествие «в пустынном вагоне»?!

*г. Барнаул, 2003 г.*

## С его голоса и запомнилось (Этюд-воспоминание)

Тёплая июньская ночь. Дамба Барнаулки. Огни... Мы с Борисом Капустиным задержались у Стаса Яненко на Загородной – праздновали его день рождения. Припозднились.

И после душного вечера – в ночь, в прохладу, к реке – освежиться. Ещё до постройки дамбы, в 60-е, выезжали сюда на отдых с родителями – на дальний берег Барнаулки. Вода была чище, речка – шире.

Родни и друзей с тех пор убыло – не перечеть.

На старой фотографии мы всё ещё бредём к борovому берегу...

Чистый речной песок. Солнечные блики. Речка бурлит, разговаривает... Крутые песчаные обрывы шумят верхушками сосен. Корни вцепились в песок...

Но тех сосен, что зацепил чуткий детский хрусталик, уже нет. Как нет на свете Борьки, нет Стаса... А я ещё разговариваю, спорю с ними о чем-то в ночную бессонную темень. Перелистываю их небольшие (изданные при жизни) книжки стихотворений. И, как мотыльки на свет свечи, слетаются обрывки разговоров...

Для меня они живы и не уходили. Один выбежал из своей «коммуналки» за сигаретами да и не вернулся. Другой смотался на Север – ищи его теперь. А то, гляди, нагрянет в большой мохнатой шапке. Не переслушать

тогда рассказов о тундре, о ненцах, о полярных зимовках, о «Севере-чародее»...

*Бредит шпорой костыль – острите! –  
Пулемётом – пустой обилаг.  
В сердце, явственно после вскрытья –  
Ледяного похода знак.*

Эти крамольные, по тем временам, цветаевские строки Стас повторял как заговор, как молитву...

Всё белогвардейское пело у него в крови. Вырывалось наружу в случайном разговоре, вспыхивало живыми картинками в дружеском застолье... Он гордился предками-казаками, любил повторять: «Я – природный есаул» (т.е. по роду). Лихо пел старые казачьи песни.

...Мы и тогда пели – в ту тёплую июньскую ночь, бредя загородными закоулками к Лесному пруду: Борька, Стас, Мария и я... Песок ещё не остыл после жаркого дня. Пахло поздним костром, звенели комары. Мы дружно кинулись в парную светящуюся воду. Освежились. Размолодили угасающие головешки, подбросив сухих веток и травы – от зудящих комаров. Костёр ожил в ночи, заразговаривал. Оживились и мы – после купания, после домашней настойки, выпитой за Стасово здоровье. Сколько ему тогда стукнуло? Кажется, 33... В 42 его не стало. Борька ушёл в 47. Они были годки. Шестидесятники. Поэты разнонаправленного воздействия. А всё в одну точку. Стаса завораживало движение – дороги, глухомань, горные реки... «Сань, пойдём со мной по речке на шаланде», – звал он меня, да так и не дозволялся...

Другу его – Борьке Капустину – не надо было



никуда ехать. Он путешествовал по-другому. Время само приходило в его прокуренную комнату, как многочисленные друзья и приятели – на огонёк... А он никуда не спешил и не рвался.

*Надо жить и вращать,  
Чтоб пророками стать.*

Это его строчка. Не могу представить Бориса и Стаса поодиночке. Они продолжают жить там, где жили, где ещё бродят строки их стихотворений, – на Загородных, на Полярных, на Гвардейских... Стас любил коней, кавалерию, Хемингуэя и стихи Николая Гумилёва.

*На полярных морях и на южных,  
По изгибам зелёных зыбей,  
Меж базальтовых скал и жемчужных  
Шелестят паруса кораблей...*

Это первая строфа из гумилевских «Капитанов». Ещё одна – из охранных Стасовых молитв. Пароль. Посвящение...

Книг Гумилёва в то время не издавали – с его голоса и запомнилось. Только вместо «розоватых брабантских манжет» он всегда произносил «разорватых» (отсылаю читателя к оригиналу). В этом был весь Стас Яненко. Кто его знал – подтвердят: внутри остро раним, с виду бодр и оптимистичен. Он и жизнь свою недолгую безжалостно правил, как черновик, как заготовку к чему-то большему. Да устал... «Пропет. Проморожен». Ушёл в 42. А строка его звенит и будет звенеть, как подкова воспетого им белого коня.

И светится окошко на Загородной... И долгая июньская ночь не кончается. И мы бредём по ней в том дальнем далеке – по мосту через Барнаулку. Гулко отдаются шаги в тишине. Синие звёзды мигают тепло, по-летнему, и мы вот-вот запоем в темноте...

*Булыгино, 80-е годы XX века*

## Лесные трофеи

Вот уж где не ожидал найти опят, так это здесь, в этих переходных местах. Сколько раз бродил по непролазным чащобам – одни поганки грядами попадались, а тут у самой дороги...

Такие свежие да пригожие – срезать жалко. Сорока на засохшей берёзе и та растрещала, растрезвонила по округе, что грибы объявились. Они, сороки, и сами не прочь порой этой лесной пищи отведать. И эта стрекотунья, видать, к моим опяткам подбиралась, да меня нелёгкая принесла.

Думаю, нет уж, голубушка, как-нибудь без грибов обойдёшься на этот раз. Прошёлся по обочине, а там ещё одна семейка в траве расселась – как ни пряталась, а всё равно в корзине очутилась.

Капризна грибная удача. Бывает, ноги собьёшь и не один километр по лесу отмахнешь, пока до заветных трофеев доберёшься. Тут главное – выдержку иметь да не зевать, по сторонам гляючи. Грибы, они ведь тоже свои особые сигналы посылают: мелькнёт в траве коричневая шляпка – нагнёшься, а там вместо гриба листок осенний притаился. И такая досада возьмёт!

...Идёшь несолоно хлебавши, ждёшь, когда окликнет тебя грибное семейство: «Мы здесь... Чего проходишь?!» Другое дело с пеньками. Эти норовят в крапиву или в дикий кустарник запрятаться. Прoberёшься сквозь назойливые комариные заслоны, весь исцарапавшись о шиповник или боярку, к старому замшелому

пню, а там только свежие срезы от опят виднеются. Уже побывал здесь кто-то. Значит, надо вокруг внимательней смотреть.

Иные грибники в спешке об этом забывают. Приглядишься – вон они, только тебя и ждали, прятались, к берёзе-матушке прислонялись. А она-то, доверчивая, их хоронила, а того не знала, что эти милые создания погибель ей несут. Недаром ведь сказано: опята – могильщики леса. Сплетутся берёзовый и грибной корень, с виду всё вроде бы в порядке – берёза цветёт и грибы растут, а смотришь: то там, то здесь поваленное дерево. Гниёт да трухнет, а из-под него шустрая опеньковая братва на белый свет выглядывает. А то и в самую труху заберутся – не отыщешь, пока не подрастут да не вытянутся шляпками.

А всё равно заманчиво их собирать. Уж и не ждёшь, и разуверишься в удаче, и вдруг – на тебе! – весь пень усыпанный. И каких тут только нет: и малыши, и подростки, и кто посолидней да поокладистей – всех под одну гребёнку. Порой даже жалко – такой красивый пень стоял, а тут осиротел и скукожился, как старичок-лесовичок, не с кем словом перемолвиться. А какое веселье было! Разве что проворный бурундук или шустрая мышь лесная устроят под самыми корнями свою кладовую – всё-таки какое-никакое, а общество для пня.

Незаметно осенний день пролетает. Как паутинка лесная, блеснёт – и нет его, на убыль пошёл, на закат подался. Пора на лесную дорогу выходить. Вот и солнце до верхушек берёзовых добралось – всё ниже, ниже. По траве, по разноцветью листвы прощальными лучами

проходится. И меркнут, и затухают таинственные звуки лесные, и всполохи лесных голосов и шорохов вливаются в одну нескончаемую музыку отошедшего дня. И вечерний холодок овевает твой путь – далеко ли до ночлега?! Сколько ещё продлятся эти золотые погожие деньки?

*1988 г.*

## В золотую осеннюю пору...

Этот путь через холмы и перелески – кажется, не будет ему конца. Где-то там, в березниковых низинах, затерялось озеро. И поблёскивает, и зовёт к себе темноватая осенняя вода. Диковинные пеньки, словно грибы, вырастают из неподвижной глади. Когда вода подошла к этим местам и затопила деревья, и кто успел сокрушить их могучие кроны? Только берёзам, обступившим озеро, известна тайна исчезнувшей рощи.

В скупом и неярком свете осеннего дня хорошо бродить у этих берегов меж зачарованных берёз, роняющих золотистое своё великолепье, и думать, что бесконечны эти дивные прозрачные деньки закатившегося лета. Да и какого лета! Как промелькнуло оно, пролетело, словно светлая птичья стая снялась на розовом закате и растаяла за дымом полей, где сходятся земля и небо. И осталась эта золотая прощальная пора, словно чаша, до краёв наполненная удивительными красками и резкими штрихами. Какой художник проснулся на звонкой сентябрьской заре и расплескал все краски своей палитры? В багрянец вырядил рябину, позолотил листву берёз и клёнов. И ветер, словно опьянённый роскошной печалью увядания, никак не усидит на месте – столько свободы открывается ему в набегающем просторе – и бросается листвой... И она летит, летит, не в силах устоять перед его капризами, на уже кое-где пожухлую траву полян и на цветы. А потом – тишина после его внезапных порывов. Хрупкая, как стекло. Каждый звук

и шорох легко проходит её невидимые границы и растворяется в ней. Хрустнул сучок, пророкотал трактор в поле и смолк, стая птиц выпорхнула из потревоженной чащи, и опять затишье. И то особое бодрящее чувство дальнего пути не покидает тебя. И свет небес, раскинувшихся до горизонта, обступает, как музыка бесконечного осеннего дня.

У самого леса сторожка лесника. Встреченный дружным собачьим лаем, прохожу мимо резных окошек с чистыми, уютными занавесками. Стаи ласточек на проводах, яркие тяжёлые шляпы подсолнухов и тугие оранжево-золотистые тыквы в огородах – всё это настраивает на тихий житейский лад. Как она тут движется, жизнь, и кто ведаёт её размеренным, несуетным ритмом, как в старинных ходиках? Да и деревенька-то небольшая – дворов тридцать-сорок наберётся. Старики да старухи. Ничего, поскрипывают, живут. Ещё в соседнее село за хлебом пешком через лес ходят. Свой-то магазин закрыли – продавщице молодой чего тут в глуши сидеть, в город потянуло.

Колодец стоял в центре села – всякому прохожему отрада была в жару воды колодезной испить. Теперь стоит себе – колодезным журавлём в небо вытягивается, а вода пополам с землёй перемешалась. Почистить бы, подновить! Да кто в этакую глубину полезет? Старикам уж не по силам, а приедем дачникам до него ли? Тут тебе и свежий воздух, и огород, и свой колодец во дворе имеется, а что надо, так из города привезут – невелик путь.

А по осени, когда потянутся грибники на дальние вырубки за опятами, оживает деревенька на ранней звонкой заре. Сколько отмахает за день, скольким пенькам

поклонишься, пока корзину с верхом наполнишь! Тут уж и наши старики не дремлют. Ты ещё только с первой электрички в деревнюходишь, а они уже из лесу с мешками да с корзинками возвращаются. Места свои заповедные в секрете держат! Тут уж, как говорится, здоровая грибная конкуренция в силу вступает – кто кого обставит по части количества. Ну и качество, понятное дело, не возбраняется.

Под неярким осенним солнцем вся деревня как на ладони, если смотреть с крутого лесного взгорья, подступившего к самым избам. Вроде как в котловине вся деревенька оказывается. К вечеру розоватой дымкой подёрнутся лёгкие облака, очнутся и заиграют таинственные звуки, и, гулко отражаясь, будет скрадывать тишину то собачий лай, то скрип колодезного журавля, то отрывистое гусиное гоготание. Небольшое деревенское стадо пропылит по дороге, и осядет, и уляжется пыль. То здесь, то там зажгутся по деревне огни, и густая непроглядная темень опустится на затихающую округу.



## Лучшее, что слышал...

*(Лирический этюд)*

Как гулко звенели сырые замороженные пни, разлетаясь под топором! Какой нескончаемый, наполненный смыслом и радостью день! И это возможно только здесь – в Ерестной – посреди тишины и забытого старого уклада. В доме у хороших друзей. Давно я не переживал так остро своего единения с утраченным. Разве что в детстве, когда вся многочисленная родня собиралась на праздники. Тогда это были путешествия в неведомый мир старгородских окраин Барнаула. Как в другую страну.

Теперь не найти этих домиков в Нагорной части, на Булыгино, в Ерестной, куда нас таскали родители на именины да крестины. А если уцелели домики – сменились хозяева. Звонкоголосые старики и старухи, запевавшие «Сронила колечко» и «Чёрный ворон», давно отошли в мир иной. Смутно помнятся лица, разговоры...

Куда-то ушли краски и запахи, ночи с песнями на долгом пути «с горы» до города. До сих пор стоит в глазах это синее, усыпанное звёздами небо. Ночной воздух пьянит родниковой чистотой. Почти нет машин. Дорога свободна. Ночные тени таинственны. Ещё не убита сказка...

...Сырые замороженные пни. Ересницкие опустевшие огороды. Тишина предзимья. Крик ворон на сыром ветру. И вдруг – каким ветром донесло это пение?!

Как будто из времён сорокалетней давности. Я прислушался. Нестройный хор голосов на ходу обогрел продрогшую и озябшую ноябрьскую округу. На душе стало светлей. Старое дерево дворов, звонко резонируя, усиливало пение. Поющие старики и старушки уходили всё дальше и дальше, а с ними ушла песня.

Пока я колот дрова да вслушивался в забытое, друг успел затопить баню. В холодном воздухе запахло берестой. Поднялся ветер. Зашумел по верхушкам берёз. Зашуршало мелким дождём по крышам построек. В такую погоду хорошо посидеть в тепле. И пусть за окном шумит ноябрьская непогода, бьют по стёклам дождевики. У печки всё нипочём. А живой огонь и тепло ничем не заменишь.

Надо сказать, что в посёлке Ерестном дома так дома – настоящие, рубленые. С широкими поветями, чтобы лучше дышалось, чтобы мысли хорошие и светлые приходили. В таких домах чувствуешь себя по-другому. А если хозяин изрядный древодел – тогда это не дом, а песня. Куда ни глянешь – кругом всё резное, добротное, глаз радующее. И веранда, и окошки с наличниками, и лестницы – всё кружевное, затейливое. И чего только нет в таком доме. Разом всего не охватишь. А ещё – тишина. Необыкновенная, стойкая, умиротворяющая, какой не найдёшь теперь уже ни в старом городе, ни в нагорной части. В Ерестном она есть. За большими соснами, в ярах упрятанная, всё ещё жива. С нею не одичаешь от шума городского и не завязнешь в пресловутой цивилизации. Захочется отдохнуть от неё, а где? Вот в таких только местах и найдёшь её и вспомнишь дивную строчку поэта: «Тишина – ты лучшее, что слышал».

## Золотые шары осени (Августовский этюд)

И снова по лесной тропе, просвеченной солнечными неугомонными бликами, сквозь потаённую глушь оврагов, в застывшую глубину прозрачной предосенней тишины... С корзинкой, налегке. И не видно конца пути, да и не думаешь о нём и забываешь. И время – лёгкой августовской паутинкой парит где-то над тобой, теряясь в дремучем лесном далеке. И слышен вдали от дорог только шум проходящей электрички, и снова та же хрупкая тишина. Боишься её расплескать – то шорох, то шелест встрепенет её таинственные заводы, где только птичьи голоса не знают устали, где только ветер безраздельно хозяйничает в берёзах и елях. А разноцветье листвы – в причудливых переливах осенних красок – разве это не первый намёк на предстоящее увядание? Не оттого ли такой бездонной и яркой кажется синева небес, да и солнце так щедро, так по-летнему оберегает весёлую стрекотню кузнечиков, искупавшихся в росе, что кажется, не будет конца этим дивным «остатным денькам», которых ждёшь каждый раз, как заветную музыку. Где-то в чаще притаился бродяга-ветер, разогнав внезапно налетевшие тучи, да и пусть медлит, успеет ещё натешиться вместе с дождём.

А тебя всё дальше ведёт извилистая лесная тропинка. Выглядывают из травы, посверкивая разноцветными шляпками, сыроежки. Которые покрепче – в корзину,

остальные (что поделаешь!) – лесным мухам на раздолье. А вот и груздёвое семейство расположилось – свеженькие, один к одному ребятки подобрались – только успевай, срезай. Да и то сказать, если бы все собирали как должно эти желанные трофеи – не ворошили бы, не вспахивали бы лесную подстилку, и грибы бы, заметим, в лесу водились. А уж нашёл застарелый, червивый гриб, так не сочти за труд нанизать его на ветку сосны или ели: развеет ветер грибные споры – будет что собирать на будущий год.

Щедра ранняя осень на дары! В глухих оврагах дозревает калина, тут же и брусника темнеет малиновым бочком и просится в корзинку. Остановиться бы, нарвать ягод. Где там – никак не угомонится тропинка лесная, всё дальше в чертоги лесные уводит. А там каких чудес не насмотришься – малая пичуга и та загадкой обернётся. Ты к ней с вопросом: «Что насупилась-то, чего на бугорке расселась (завидный такой бугор!) или деревьев тебе мало?» Сидит и ни с места, и на тебя не смотрит – не птица, а сплошное расстройство. Подошёл – взлетела, да с такой неохотой, словно клад под ней драгоценный зарыт. Села на ветку и таким снисходительным взглядом на тебя глянула, словно не человек ты, а так, мошка перелётная, скажи спасибо, что место, мол, уступила. Да что, в самом деле, мёдом этот бугорок намазали, что ли? А птица уж и не смотрит в твою сторону, неинтересен ты ей и надоел, видать, порядком. Чего с таким разговаривать – снялась и улетела по своим перелётным делам. А вот и разгадай, что она там своим птичьим умом про тебя соображала да прикидывала и чем ты ей таким не угодил – с бугорка любимого согнал? Нет, уж лучше за грибами

142

смотреть и на всяких птах с характером не отвлекаться, а то так и придётся возвращаться из лесу с полупустой корзинкой.

Незаметно солнышко опускается, дело к вечеру близится, и как бы ни хотел, а надо выходить на знакомую тропинку. Сквозь засыпающие цветы, сквозь вечерние шелесты затихающей природы, где тень и свет перепутались в роскошном беспорядке, идти до знакомого ночлега, до синего дымка над крышами изб, где в палисадниках – наклонившие головы шары... Золотые шары осени...

## По первым проталинам (Старогородской этюд)

Сколько ещё осталось до весенней распутицы и бездорожья, до звонкой разноголосицы ручьёв и несмолкающих капельных рапсодий?

...По первым мартовским проталинам выйти в ранний весенний рассвет, как бы высвеченный изнутри бледно-розоватой дымкой. В свежем дыхании ветра всё слышней голоса проснувшейся ото сна природы. Она, как делающий первые робкие шаги младенец, насторожённо прислушивается к тому таинственному и вечно волнующему, что сокрыто в ней за семью печатями... до назначенного срока. До той благодатной поры, когда дремлющие в ней невидимые силы взорвут набухающие почки на деревьях... А пока ускользящая весна впопыхах оставляет все больше и больше долгожданных улик.

Светлеют тополя на улочках старого города, радуясь солнышку и оживлённой воробьиной щебетне. Шебуршит, скатываясь с крыш, подтаявший снег и шлёпается на раскисшую от капли наледь. Из чердачного проёма нет-нет да и выглянет на свет божий любопытная голубиная голова, а вскоре и сам сторожкий обитатель голубятни замельтешит по крыше. На самом краешке настержь распахнутой форточки нежится известный солнцепоклонник — дымчатый кот, жадно вдыхая свежий мартовский воздух, перемешанный со стойкими

запахами дровяников и голубиногo помёта. Веселеет на окошке герань и прочая незатейливая растительность бабушкиных подоконников.

Под обновлённой синевой небес как-то легче дышится. Из прокуренных и мрачноватых комнат тянет на воздух... в пьянящую круговерть дня. И весь он пронизан какой-то солнечной музыкой. Она неслышно проникает и захватывает каждый мало-мальски отзывающийся ей предмет – будь то дерево или резной наличник над окном, пролетающая птица или ком снега, скатившийся с крыши... Голосом ветра она пробует силу своих созвучий, раскачивая простуженные ветви старых тополей и истончаясь до самых высоких нот, вливается в нестройный хор капелей так, что разбитые временем и ветром водостоки уже не могут удержать ее в своих старческих объятиях. И она, дитя снеговой воды и солнечных бликов, замирает только на ранней, золотокрылой заре, которая быстро меркнет и гаснет. И только не затихают в сгустившихся сумерках дневные звуки – стук капельного молоточка о перевёрнутую кадущку всё с большими паузами; приглушённое царпанье голубиных коготков о железо крыши, хрусткий, дзинькающий звон упавшей сосульки...

Но слетает на округу сон и забвенье всего, что пело и звенело при ярком свете весеннего дня. Шорох шагов, отдалённые голоса, смех, скрип захлопываемой двери всё ещё будоражат хрупкую тишину мартовской ночи, которая кажется таинственной, светящейся рекой, что не может ни остановиться, ни уснуть...

## Игра в бесконечность (Лирические этюды о бильярде)

*В барнаульском «свете» было принято встречаться зимой по два-три раза в неделю. Молодёжь музицировала, пела. Гостиные украшали клавишины, позже – пианино или рояль. Во многих домах был бильярд. И уж, конечно, в каждом доме имелись карточные столы.*

М. Юдалевич. «Барнаул во второй половине XIX века. Детали быта»

*По-видимому, впервые Городской парк был заявлен в мае 1895 года. Обществу попечения о начальном образовании в Барнауле был уступлен Кабинетом Аптекарский сад. Здесь построили летний театр, бильярдную, кегельбан, стрелковый тир, детскую площадку, газетную, буфет.*

В. Коржов. «Городские окраины»

*Впервые упомянута игра – бильярд. Вскоре эта игра начала внедряться в России как способ отвлечения офицеров от пьянства.*

Газета «Новые Английские Куранты»,  
30 апреля 1722 г.



## Лао Цзы

– Помнишь, как перемещались две кошки в лунной августовской ночи по двору Покровского собора?! Помнишь, как сыпалась мошкара на тёплые огни фонарей?! Так же бесшумно скользит музыка – где-то в глубине – плавно скользящих линий... «Где-то по верховьям елей гудит и плещется апрель»... Плавно скользят по зелёному полю шары. В чёрных жилетках и накрахмаленных рубашках – ветераны русского бильярда...

*... В детстве запало мне в душу давно:  
Плавно скользя по зелёному полю,  
Шары бильярдные, словно живые, скользят,  
Словно живые резвятся –  
В детстве, в Горпарке...  
Такое кино  
В гуще акаций...*

Надо было видеть седого сухопарого Лао Цзы! Он бесшумно скользил от стола к столу, считывая игру с зелёного сукна бильярдных столов... Я нет-нет да и натыкался на отстоянной голубизны глаза, устремлённые туда – к глухо катящимся шарам...

«Поздно сообщили. Не успел найти форму...» – сказал Лао Цзы. Не успел приодеться к бильярдному параду! Вот и оказался за бортом! Но он и без кия играл на всех столах, переходя от одного к другому, тепля Игру в глазах...

Порой меня потрясало ощущение, что некоторых из них я видел там, в Горпарке, в их молодые лета,

а мои были – школьные... Не мерещилось, не блазнилось... Выплывали лица из тех шестидесятых годов... И Горпарк, и зелёное сукно того стола, куда они пробились изредка...

А столов-то бильярдных в Барнауле было всего ничего – в Горпарке, на ВДНХ («Выставке»), в Меланжевом парке, в Барнаульском санатории...

Это из тех лет они бурлят – бильярдные крики... Ветераны играют неспешно, в тишине.... Тихо постукивают кии по шарам. Благость... Отдалённо, еле слышно доносится музыка. «Старичкам» она ни к чему. Они купаются в своей бильярдной стихии. Редкие возгласы раздаются... «Удар... Штанга. Первый раунд». Директор в очках, с бабочкой...

«Не веришь!..» Директор плетёт о баснословных временах, когда он был на озере Рица и ему давали на сдачу червонцы с изображением Ленина... Только на голове кепка...

«Хочешь! Не веришь?! – густо верещит Директор. – У них в Абхазии уже тогда деньги фальшивые штамповали...»

В приятное место надо идти с приятным и обаятельным обликом, с чистотой и в мыслях, и в одежде, меньше болтать...

«...Тихо плещется апрель».

Кто погрузил меня в эту зелёную саксофоновую дорожку? Так хорошо было только в детстве – на подушке тишины – на бесконечном невесомом облаке... В каморке под лестницей в кедровом доме на бывшей Павловской...

... Восемь ножек у столов. Ножки напоминают по строению керамические вазы. Дерево приятного

коричневатого цвета. Кто-то ведь разрабатывал геометрию бильярдных столов?! Пифагор и китайцы...

*Тёмная лестница. Шар золотой  
Вспыхнет сквозь пыль стекла.  
Шар золотой, в ступеньку влитой,  
Сколько в тебе тепла!*

*Там, за окошком, в подлестничной мгле,  
Кто эту лампу жжёт?!  
Детскую память, как угли в золе,  
Что за чудак стережёт?*

*Августа ночи теплы и щедры.  
Скоро придут холода...  
Ах, не снесите, будьте добры,  
Дом на углу никогда!..*

Это «генеральский дом» на углу Сузунской (ныне – Интернациональная) и бывшего Соборного переулка (ныне – проспект Социалистический). Высокий, бревенчатый, резной... Терем деревянный! Генерал занимал верхний этаж, прислуга – нижний. Если сделать зигзаг от «сузунского» угла через Соборный, то вылетить к воротам бывшей 27-й школы.... Но ни ворот, ни каменного забора, ни той школы уже не найдёшь зорко путешествующим взглядом. Снесена. Переехала в нашу память. На месте её высится дорогой типовой особняк...

## Игра в бесконечность...

...А седой старик, которого поздно известили об Игре, всё ходит по бильярдной, как по зелёному дому своей души – это его аквариум с золотыми рыбками...

Если бы я не схватил на бегу, на движении, сгоряча, тот лёгкий, почти невесомый кий ручной работы, не катнул им пару шаров... Словом, если бы не кий Инженера (а он и стал чемпионом турнира ветеранов, посвящённого Дню защитника Отечества!), вряд ли бы я до конца осознал, что значила для Таёжника, тогда, в семидесятые-восьмидесятые, пропажа двух его киев. Украли память!..

«Один кий цыган увёл из Меланжевого парка, другой – Голубятник прихватил и увёз на спортивную базу...» Вряд ли бы я понял до конца и ту сцену в бильярдной Горпарка с пьяненьким солдатиком из его «таёжных» мемуаров...

Вон как жизнь-то пересекает – годы проходят, а деяния не забываются!.. А был он – тот последний кий – из красного дерева.

– Продад бы? – спрашиваю я у него по телефону.

– Ни за что! – резко выдыхает мне трубка голосом Таёжника.

Было около десяти вечера. По спортивному каналу транслировали чемпионат по бильярду, и голос его с обычной раскатной хрипотцой отбрасывал меня все дальше на годы и десятилетия, раскручивая колесо памяти легко и незаметно, как ему всегда это удавалось.

Он весь для меня как рассказ Фицджеральда «1 мая». Там солдаты возвращаются с войны в небольшой городок... И там весна в рассказе... Русская какая-то весна...

(корни Фицджеральда в России!). И эта ночь – фронтовиков, вернувшихся из лап смерти... И музыка, и саксофон где-то плещется... И женские глаза, и речь, как реченька, льётся и бежит, и они путешествуют из бара в бар... И плеск весенней ночи, надежд, молодости... И музыка, музыка, музыка! Я его не прочёл, пропел этот рассказ на вечерней кухне. Включил старенький проигрыватель с упоительной джазовой композицией. И голосом добавляя к музыке, пропел до глубокой ночи, до глубинных снов...

Он весь для меня как рассказ Фицджеральда «1 мая». Из таёжных горноалтайских заповедных мест... Оттуда, где древние тюрки, костры, дороги в горах, огнеликие пейзажи Николая Рериха... Потому я и назвал его Таёжником в этих невыдуманных записках о бильярде и старых бильярдистах... Потому и посвятил ему стихотворение «Звон кедра» в своей второй рукодельной книжке... Но ему это было до фени, он никак не отреагировал... Как всегда, сидел тихо-мирно, уставясь в свой рабочий компьютер... А зачем? Ну и что?! Ничего не разглядеть за толстыми линзами его очков, ничего не слышать в этом кряже... Голоса какие-то переливаются из его далёкого «таёжного» детства и звучат, купаясь в волнах памяти...

Я попал в реку и плыву по ней – по волнам текущим... Плыву и плыву, не видя берегов... Что я там различу, в пелене годов?! Правильно организованное пространство. Это там, где я побывал и куда тебя окунул невольно, читатель! Но я ещё плыву – вместе с Таёжником, пока и он плывёт вместе со мной в этой легенде о старом бильярде...

«Юрка-шапошник... Шапки снимал. Пять лет дали.

Потом он вернулся, отсидев. И они с Паровозником договорились «скатить» одного. Паровозник поддался. Юрка выиграл. Две партии по 100 рублей (в то время зарплата!) ставили на Паровозника... Тот, которого «скатили», он сидел. Восемь лет «в завязке». Картёжник. За день все деньги в карты просадил, пива выпил, а вечером пришёл в бильярдную и поставил на Паровозника... А, вы меня «скатили»! И ножичком в пузо Юрке. И закрыли бильярдную. Раз вы на деньги. Паровозника напугали. Здоровый, но трусливый».

Как легко отбрасывает Таёжник меня в наше старогородское детство! Он появляется в Барнауле в 1966-м. В 11 лет я уже заядлый футбольный болельщик, книгочей двух библиотек – школьной в двадцать седьмой школе и городской, что на Интерке возле крайкома КПСС, с печкой-«голландкой» в двухэтажном бревенчатом доме...

Типажи тех лет растворило время... Со старого города – с наших улиц-ручейков – стекались бильярдисты, картёжники и заезжие «гастролёры» тех строгих лет в Горпарк... «Место встречи изменить нельзя»...

«Ходил по Старому городу печник Иван Никитич, – вспоминает Таёжник, – а впереди него – мальчишка с ведром стекла бежит и затыкает стеклом печные трубы. Хозяйки зовут – печка, мол, дымит. Печник полпечки разберёт... Пацанёнка пошлёт. Тот стеклоко снимет с трубы.... Печка работает. Иван Никитич чудил в бильярдной. Кий помелит, ботинки помелит. Я студентом был. Мне было девятнадцать лет. А Николаю Николаевичу, одному из «китов», подшестьдесят. Он жил на Октябрьской площади. Фотограф. В мою бытность вышли два его альбома. У меня где-то сохранился один

с автографом. Большой такой альбом, нестандартный, квадратный. Про Алтай – поля, комбайны... Мы с ним ходили на выставку цветов на «Выставку» (ВДНХ), поднимались по знаменитой лестнице – над городом... А там цветов видимо-невидимо!.. Я-то – девочек-цветочниц, а он цветы фотографировал... Он-то играл хорошо! Все винты знал. Но уже старенький. Как разнервничается, может и проиграть...

Был ещё такой Армен Данилович – старинный игрок послевоенных времён; Коля Чика. Он, после блокады из Ленинграда эвакуированный в Барнаул, жил где-то возле Горпарка, на Гоголя... Как за хлебом пойдёт, так все деньги просадит. Чика лучше всех бил шаром. Всё «чик-чирик» приговаривал во время игры. Вот и прозвали Чикой. Он бил шаром без промаха. Он бил шестым двенадцатого и точно в угол... Двенадцатого в угол лучше него никто не забивал. Талант был у Чики на эти шары! Смотрю по спортивному каналу на чемпионов снукера<sup>1</sup> – ни у кого не получается. Как они промажут, я сразу вспоминаю Колю Чику – он бы, конечно, забил...»

Я долго шарил по бильярдной, ища точку благодати. Я перекачивался от стола к столу, как колобок от лисы и от волка... Меня застигали классные удары по шарам. Белые в чёрном мудрецы светились на зелени сукна, как светляки в черёмухе в майской синей ночи под горой, у «Выставки», где студентами на двух столах они играли в «Московскую пирамиду».

– Вы помните Таёжника? Он был студентом, ходил в Горпарк...

<sup>1</sup> Снукер – бильярдная игра с 15-ю красными и 6-ю разноцветными шарами.

– Мы все были тогда студентами, – ответил мне Светловолосый. – Все ходили в Горпарк...

Вот тогда он и раскололся про Горпарк и про бильярд, когда вышла моя книжка со стихотворением о Горпарке! Я было собрался в утёк от Таёжника, от компьютерной его благодати, но он разговорился, как речка на перекате, журча по памятным камешкам годов... И не замолкал долго...

*Ниже плотины, на левой стороне речки, находился «двор Демидова». Т. А. Полухин. «По историческим местам Барнаула»*

...На берегу Барнаулки, возле сереброплавильного детища Демидова, мы слушаем с Натальей весеннюю шумящую воду в «ненарушимых чарах пространства» (Н. Карамзин)... Резко и звонко играют звуки, бурлит, порывкивает неугомонная Барнаулка, спеша вырваться на широкий простор. От моста к бывшему сереброплавильному – на понижении (ниже плотины) – грохочут белые буруны. Что за чудо-место! Остатки свай с каких времён?! Иные, кажется, вот-вот заговорят, как каменные бабы в степи...

Чудо-места. Двор Демидова. Горпарк. Места благодати. Магниты. К ним и притянуло бильярд.

## **Свет ускользящей раковины**

I

*... Я рисовал мелодию извилов.*

*Как раковина, чашка вся светилась...*

*Шумел прибой.*

*И время протекло –*



*Сквозь стенки сна пробилось...  
Меня потоком вольным понесло...  
Ссыпалось время горловиной узкой...  
Я любовался*

*вазою*

*этрусской...*

II

*В извилах лет*

*Светилось мирозданье,*

*Как чашечка,*

*Как светлячок в руке...*

*Я ложкой чай баюкал,*

*светлячка...*

*Он ускользал*

*в мелодии извилах*

*К возвратной точке,*

*К Золотой Струне...*

Как они отрабатывают движение по залам – Мириам и Елена, плавно скользя в правильно закруглённом пространстве бильярдного клуба... А старичок с Алма-Аты (Лао Цзы) так и ходит, путешествуя от стола к столу... Он весь турнир проходил, просидел в позе дуги с глазами, нацеленными на Игру на всех столах...

– Мы в Алма-Ате играли в «Русскую пирамиду», – разговорился Бесформенный, что ходил-бродил по турниру с бильярдными глазами Лао Цзы...

– Внимательно!.. – ловится плавный голос Инженера... Он же – третейский судья турнира ветеранов. Это его лёгонький кий я схватил по азарту. Успел катнуть три шара, пока не получил по ушам – возглас из глубины зала: «Я так и знал!..» Это Инженер

летел на спасение своего ручного кия, как торпедный катер, по зелёным мягким волнам бильярдной. Он, представьте, и стал чемпионом турнира... Может, после моей «поддержки»?! А вдруг и это повлияло?! Неисповедимы пути. Совсем другое ощущение, чем от общаковских, которые висят на стене.

Кто-то из мудрецов молвил: «Эмоции захлёстывают игрока! Ты видел, как он на стол ложится?..»

Я расспрашивал их о Таёжнике, о Горпарке, заливал про своё футбольное детство... Они, куря и балагурия, неспешно переглядывались.

– Спроси его, не помнит ли он таких-то?

Называли свои фамилии... Я переправлял их в телефонную трубку Таёжнику...

«По фамилиям никого не знаю, – отвечал он. – Я с шестого класса начал играть. Понял, что смогу. Не пил, не курил, тренировался. В деревне – рыбалка, охота, волейбол. Жил в Иогаче на Телецком озере. Потом в Красноярске. Потом в Суучаке – в тайге. Снова в Иогач с отцом вернулись. В Кебезене, на сплавучастке, в руководителях был отец, потом председателем в деревеньке... В Усть-Калманке десять классов оканчивал. А напротив нашего дома в общежитии был хороший бильярдный стол. Через дорогу шнырь – и там...»

Голоса какие-то перекликаются из его дальнего таёжного детства... И звучат, купаясь в гласных звуках: Иогач, Кебезень, Турочак... За толстыми стёклами очков не разглядеть... Там, где ручки его «таёжного» детства, там и первый бильярдный стол в горнотаежной деревеньке... Он бежит как на крыльях туда, словно на автопилоте. Бильярд!.. Бильярд!.. Как они выглядели,

кии тех лет, что за шары били? Как оно все там происходило да завязывалось?!

«Последний чемпионат был в 1966 году, – лопочет мне в трубку Таёжник, – последний чемпионат по русскому бильярду в Барнауле... Победитель – Николай Павлович – так и ушёл непобеждённым... А в 1979 году в Горпарке закрыли бильярдный зал... Часов по 14-17 играешь. За время заплатили и разошлись. Нервы изнашиваются в бильярде. Семнадцать лет ему отдал... Сейчас он – спорт. А тогда, в шестидесятые-семидесятые... Пришёл, – льёт в трубку Таёжник, – кто из ГБ, кто из тюрьмы, кто условно... Никто друг о друге ничего не выясняет... Мне какая разница – сидел, не сидел?! Горпарк закрыли. Пришлось жениться.

Тогда же – 17 лет! – всё отдавал бильярду. (Случай рассказывает. Пример спянного дружного бильярдного братства – тогда, в Горпарке.) Очередь подошла моя... Солдатик полез пьяненький... За кий хватается. Дёрнет – ломает! Кий – основной инструмент. Ребята его раз – и выкинули из бильярдной. Я с ними не пил на брудершафт...

... Хороший игрок – уважают. Люди разные, а пакости меньше. В 1966 году был последний чемпионат по бильярду, – на глубинном вздохе продолжает Таёжник. – Я был студентом, а потом бильярд запретили. Любил я «Аллагер». Три шара на столе. Два и один на центре...

Николаю Павловичу – чемпиону города – дал 10 очков форы. Две партии ему проиграл.

... А в 1979 году в Горпарке закрыли бильярдный зал. Юрка-шапошник был лучший игрок. Самородок!..»

Бильярд – это круглое, как земной шар, как глобус, а всё округлое тянет к себе... Волновая теория.

Трагедия опоздавшего игрока – всё терпит, сдерживает эмоции, сидит на стуле, а сам в игре. Формы нет – не может играть... Третьейский судья... Он же – Инженер...

«Мне положено 90 грамм в день (ясно, не хлеба!)», – звучит отдалённо, как сквозь угасающий солнечный луч, говор отыгравших ветеранов...

– Какого «своячка» поставили!..

– Ох, Серёжа, Серёжа!..

– А чё?! У него кий-то классный!..

Заводные реплики Альпиниста: «Обостряй игру! Энергии добавляй туда!..»

Покровы пространства спадают... Мастера достигают точности, единственности удара...

«Если ты сделал хороший бильярдный удар, он когда-нибудь всплывёт», – произнёс один знакомый лётчик давным-давно. А плохой?..

В «Русской пирамиде» все шары пронумерованы. Кроме крестового – битка...

...На второй день чемпионата поручкались с Директором.

...Ветераны, не дошедшие до финала, в уголку бильярдного клуба потихоньку обмывают турнир... По-мальчишески препираются, спорят – кому бежать в гастроним «Под шпилем»...

«А матерьяльная сторона в наше время – самое главное, – разглагольствует Директор. – У меня были царские деньги – вот такая бочка с медяками, начиная с 1905 года... Хочешь подарю?.. Забирай!» – веско бросает он в пространство, жестикулируя... Настоящий

Директор! Немного похож на актёра Яншина. Ему всегда нужна аудитория – выход на народ...

...Сукно играет зеленью полей... Дельтапланерист...

*Шары, как яблоки, рассыпались по полю,*

*Раскатываясь, стучаясь, скользя.*

*О, Господи! Не надо алкоголя...*

*Есть бильярд... И мы – его друзья...*

Плавно скользят по зелёному полю шары. В чёрных жилетках и белых рубашках неспешно царят ветераны... Таёжник бормочет в трубку: «Московская», «Невская пирамида», «Американка»... Физические нагрузки не нужны. Интеллектуальная игра – типа такого... Думать надо. Всяко всякий в своей манере...

На «Выставку» (ВДНХ) ходил редко... Там более распространённая «Невская пирамида». В санатории два стола и игра – другая... «Русская пирамида» – одним шаром своих и чужих. «Американка» – любой любого... В «Аллагере» – шар надо поставить так, чтобы из-за «центрального» не видно было – каким ты бил... «Галочка» ставится за забитый шар, играют до двух крестов...

...На практике играл в Хабаровске. На кондитерскую пригласили. Патоку день потаскал... Не пошёл в кассу... Я лучше эти 10 рублей выиграю.

В «Аллагере» хоть 20 человек играют. Друг за другом бьют. «Своего» должен спрятать за «центрального». Мы его звали Володёр... Пуловских столов у нас не было. «Карамболь»<sup>1</sup> не прижился в Горпарке.

«Как будто рога вырастают у шарика, когда

---

<sup>1</sup> «Карамболь» – бильярдная игра в три шара.

не получается удара, – лопочет в трубку Таёжник.  
– В «Американку» качают мышцы... Более интеллектуальные виды есть. Человек в игре на деньги раскрывается. В риске он другой... Роман-маркёр<sup>1</sup>... Риск. Рис. Рысь. Рысьи глаза сибиряка...»

*Я за колонной – от игры за столиком.  
Поговорил я с главмаркёром Толиком.  
Потом я чай попил из чашечки китайский,  
Полюбовался ложечкой легчайшей.  
Я сахарницу взял – зарисовал,  
И блюдечка сверкающий овал,  
Потом шары с зелёного сукна,  
Зелёной лампы свет, как из окна...  
О, много я в тот вечер рисовал!..  
Я просто рисовал – не рисковал...*

Для меня джаз – самая ненавязчивая музыка. Джаз тонизирует, расслабляет. И как-то отвлекает... Ломоносов играл в бильярд с графом Орловым. А правитель Баварии в один день проиграл всю казну... Маркёры... Волшебные сны геометрии... Кто-то умный и разрабатывал... Так это релаксация в правильно организованном пространстве?!

Таёжник: «Московская пирамида» и «Американка» царили в Горпарке... Кий, поскольку деревянный, должен находиться в висячем состоянии – левитировать!..»

Зашёл легко, пружинисто и бодро дважды чемпион России по русскому бильярду Дмитрий Баев. Это

---

<sup>1</sup> Маркёр – человек, обслуживающий игру в бильярд, ведущий счёт.

чистый наркотик удачи играет в нём – в Дмитриии Баеве. Он из Томска, а прибило его к Барнаулу – к Алтайскому бильярдному клубу (к Демидовскому двору с кабинетными землями), я думаю, не случайно...

*«Как только царица Елизавета узнала о содержании в алтайской руде большого процента серебра и золота, сразу же последовал указ (от 1 мая 1747 года), по которому предписывалось «заводы и прочее на Иртыше и Оби-реке, между оными все строения, какие обретаются заведения от упомянутого Демидова, со всеми отведёнными для того землями взять на нас по оценке».*  
Т. А. Полухин «По историческим местам Барнаула»

*Поединок! Причуда шаров?  
Шары ведут себя как захотят.  
Или ведомы волей?  
Удар, ещё удар!  
Шары летят!..  
Вошёл в кураж игрок  
На бильярдном поле...*

Таёжник полусмехом в трубку: «Коля, сапожник, брал ручку от метлы и выигрывал. Директор его знает. Работал он на Ленинском. Рядом с крайисполкомовской гостиницей была сапожная мастерская. Он накует денег – да в бильярдную. Старинный игрок! Его все знали – все, кто ходил в Горпарк.

Миша-баянист в санатории на горе работал баянистом... Когда Горпарк закрыли, часть игроков перешла в санаторий – на два стола... Баянист, Директор, Коля Чёрный, Таёжник... Санаторий...

Русский бильярд поколесил по Барнаулу

– по зелёным шатрам парков (помните, парки – богини судьбы в Древней Греции) – и всё-таки выжил, расцвёл в новые времена именно в Барнауле. Так может, и сам Барнаул как уникальное, пристрелянное чутким зрачком Демидова место для сереброплавильного завода и есть правильно организованное и выбранное пространство... Я разумею Барнаул старый, купеческий, с Демидовской колонной, с чётким прострелом алтайских улиц... Да, да – геометрия старого Барнаула по типу Санкт-Петербурга, – того Барнаула, в котором планировал поселиться Фёдор Михайлович Достоевский.

Итак, релаксация в правильно организованном пространстве... И китайский фэншуй на этом построен.

Я грезил наяву – на зелёном травяном поле родного «Динамо», они – на зелёном сукне бильярдных столов. Я был среди своих в тесной кучке футбольных болельщиков – и на трибунах, и на пяточках возле «Динамо»... Они били «своих» и «чужих» в «Американку» в Горпарке.

Полузащитник Перевозчиков, игравший в «Темпе» под номером восемь, был классным бильярдистом. До глухой ночи они бились с Таёжником в Горпарке... «Одну партию он выиграет, одну я, – вспоминает Таёжник, – а «киты» на скамеечке сидят, наблюдают... За время заплатили и рублились. Я подставил ему «восьмёрку» в лузу... Он через плечо оглядывается на «китов» и говорит: «Смотрите, как я пендаля бил... «Восьмёрка» потрепыхалась у лузы и остановилась. Не судьба!...»

Футбольная тема – пропуск к девичьему сердцу. Так было в пионерском лагере «Берёзка», что у посёлка Казачьего. Отрочество. Сосны. Скамейка. Вечерние



разговоры с симпатичной девицей из старшего отряда. Ухлёстывающие за ней старшекласники в недоумении:

– Ты её брат, что ли?!

– Да нет, вообще-то... Так... О футболе беседуем...

Что за чудная область – футбол тех лет! Того пионерского лета, когда шёл чемпионат мира в Англии на «Уэмбли»... И Численко (Численко был наш кумир!) удалили за грубость. А играли мы с западными немцами. И откатилась наша сборная СССР с того чемпионата на четвёртое место. И дальше пошёл откат по футболу.

И всё это происходило в сосновом да ягодном привольном пионерском лагере, где мы тоже резались в футбол... И старшие брали меня на ворота или в защиту... И все крупницы новостей, что мы узнавали по единственному в лагере транзистору (у кого-то из персонала был), передавались из уст в уста, как предание... А уж на вечерней скамейке с «футбольной» старшеклассницей мы, кажется, всему мировому футболу перемыли косточки...

Пшик да маленько осталось от того раскидистого футбольного братства с Пролетарки, с Интерки, с Анатолия, с Никитинской, с «гэбэшных» и «крайкомовских» домов; с наших деревянных «купеческих» кварталов, что за проспектом Ленина... Всё футбольное пацанье крутилось тогда в одних дворах, на одних пустырях, в небольших затворах улиц и проулков... Стоило завестись любому мячу, и все мы, старшие и младшие, стекались на излюбленный нами пустырь на Партизанской...

В той далёкой игре – в детстве – я стоял на защите, был и вратарём. Иногда прорывался в полузащиту, а то и в нападение... Старогородские пустыри,

прикрытые каменными громадами новоделов, растворили в своих золотых песчинках беспечные следы наших босолапок – из тех времён... Песочные пустыри, отдушины старгородских кварталов, где вы?!

...А «колчаковская» старушка сидела низко у печи, как маленький Будда. Попивала бражку да всё о барнаульских колчаковцах беседу вела. А Вовкин отец сидел наискось за кухонным столом у оконца и пристально слушал...

...И движение фигур на шахматной доске не прекращается... Партиям нет конца. Нет конца партитуре... Как движется пространство от энергии! Покачиваются зелёно-золотистые лампы в бильярдной!

### Эмигрант

...Он мечтал о клубе «Зелёная лампа». Эмигрант. Его выписали из Парижа – в оттепель... В квартиру на Потоке...

*...Бывает капель в морозы.*

*И в соснах запрятанный свет...*

Он сразу поразил меня выпуклостью лба и седой бородой, как у Льва Толстого... В капельном апреле под перестук его пишущей машинки среди неистребимого в корабле-комнатке запаха трубочного табака я путешествовал взглядом по книжным корешкам – от пола до потолка... Тёк парижскими мостовыми, бульварами, садами, когда он поминал про Париж, оторвавшись от громады словарей... Огонёк загорался и гас в его трубке, подаренной Красным Графом... Я, помню, подержал в руках эту драгоценность... Пустил две-три затяжки...

*Трубку Графа помнишь ли?  
Китайчонка Ли?  
Всё давным-давно вдали –  
Розы, хрустали...*

Первые мои стихотворения прошли через его машинку – инженера, поэта, левитатора – обкатались на голышах его неутомимых пальцев...

*Ушло сквозь пальцы  
Время, как вода...  
Мы – щепочки в его потоке  
И всё куда-то грезим в города!  
В даль детских снов – о сказочном Востоке.*

Грезил ли Таёжник, погружаясь в свои любимые детективы – в Гарднера, в Стаута, в Хэммета или Фрэнсиса, – в эти бесконечные тома-лабиринты, в узорные происки Игры – господина Случая?! Я годами таскал ему сумки, набитые повторяющимися комбинациями, вариантами... Они отличались друг от друга переводом, упаковкой, размером букв. Он проглатывал их... Они загромождали всё его пространство вокруг компьютера... Я не знаю, в каких вариантах и снах наяву витал он там – в компьютерной глубине – на своём рабочем столе. Думаю, он не прекращал Игру, как тот Опоздавший...

*Свет светляков...  
Призрачный свет...  
Синий огонь...*

*Шаги по лестнице...  
Окно...  
Кто слышит их, когда темно,  
Когда никого в доме нет?..*

*Бильярд – звено в цепи...  
Призрачный свет...  
Покровы спадают...  
Перевод пространства – не перевод денег...*

В достославные шестидесятые прошлого века мы торчали на трибунах или за воротами, когда шли тренировки, на стадионе «Динамо» (я уж не говорю о матчах, где реяла кипень футбольных страстей!). Заворотный хавбек – звучало музыкой и возможностью пинануть настоящий игровой мяч, поглазеть издали на своих излюбленных кумиров – Федулова, Брыкина, Скориченко, Перевозчикова...

Мы были болельщики и игроки одновременно. Бывало, к нам на футбольные пустыри и дворовые пяточки прорывались начинающие футболисты из детских и юношеских школ. Они при малейшей возможности выделяли перед нами финты, наглядно демонстрируя технику...

Однажды мы всей дворовой центральной (поскольку жили в Центральном районе города Барнаула) старгородской командой сверкнули в городском чемпионате среди дворовых команд... И, как мне помнится, успешно. А проходил он на стадионе «Локомотив», то есть в трехстах метрах от Алтайского бильярдного клуба, где довелось мне побывать на турнире ветеранов русского бильярда, посвящённом Дню защитника Отечества...

...Я не заметил, как плавно испарилось время за эти двое суток ветеранских бильярдных боёв. Испарилось легко, под скольжение и перестуки шаров.

Стоял благословенно вьюжный, слегка морозный февраль. Крутила позёмка. Продувало сквозь пальто. Но меня грела музыка, движение... Вспоминались разговоры с маркёрами, со старыми бильярдистами, зелёное сукно бильярдных столов, музыка, раскат шаров... И стихотворение о бильярдном братстве само складывалось по дороге до дома...

*Бильярдная братия!  
Стар и млад!  
По душе демократия!  
Расцветай, бильярд!*

*Радуй сердце азартом,  
Искромётом игры!  
Словно веером карты,  
Разлетятся шары!..*

*Как причудливо это  
Состязанье умов!  
Бильярдное лето!  
В нём тепло и зимой!*

*В феврале заметеленном,  
Словно в сказочном тереме, –  
Свет зелёных столов,  
Стук весёлых шаров!*

## Содержание

От автора.....	4
Старый дом.....	5
Там жила библиотека.....	8
Полёт.....	10
Приют.....	13
Бабушка Шадринская.....	14
Кормилица у Покровского.....	16
На лиственничном плоту.....	17
На Барнаулке у медеплавильного.....	18
На весёлом месте ( <i>Рассказ бабушки</i> ).....	20
По Никитке, по правой стороне.....	21
И лошадь падала на Пасху... ..	23
Керосинка.....	27
Загадка ларька.....	29
А как свет зари потух... ( <i>Этюд-воспоминание</i> ).....	30
Залётные ( <i>Быль</i> ).....	33
В чистом поле звонить некому... ( <i>Рассказ</i> ).....	35
Прощальные костры.....	38
Невидимый свет.....	41
После ненастного вечера – утро.....	44
Поле благодати.....	46
Побывать в тишине мимолётной... ..	49
Времена.....	51
Глоток колодезной воды на родине поэта.....	53
Затон, где хранится память.....	55
Музыка на воде ( <i>Речные записи</i> ).....	60
За Обью на острове Помазкин.....	62

Дом в Соборном переулке ( <i>Старогородской этюд</i> ) .....	114
Путешествие к Чехову ( <i>Малороссийский этюд</i> ).....	118
Я ехал в пустынном вагоне ( <i>Этюд о поэте</i> ) .....	122
С его голоса и запомнилось ( <i>Этюд-воспоминание</i> ) .....	129
Лесные трофеи .....	133
В золотую осеннюю пору.....	136
Лучшее, что слышал... ( <i>Лирический этюд</i> ) .....	139
Золотые шары осени ( <i>Августовский этюд</i> ) .....	141
По первым проталинам ( <i>Старогородской этюд</i> ).....	144
Игра в бесконечность ( <i>Лирические этюды о бильярде</i> )...146	













Александр Васильевич Зуев родился в Барнауле. Окончил Барнаульский педагогический институт. Много лет занимался журналистикой, работал в многотиражках «За родину», «Алтайский текстильщик», «Моторостроитель» внештатным сотрудником газеты «Молодежь Алтай». Печатался на страницах краевых журналов «Алтай», «Барнаул» и газет. Он автор стихов и прозы. Соавтор нескольких коллективных сборников, антологий, изданных в Барнауле. Лауреат премии имени Н. М. Черкасова, им. Л. С. Мерзликина, член Петровской академии наук и искусств.

Член Союза писателей России с 2001 г.

